E19
T023

№.....

Берегите книгу!

Не перегибайте книгу во время чтения.

Не загибайте углов.

Не делайте надписей на книге.

Не смачивайте пальцев слюною, перелистывая книгу.

Завертывайте книгу в бумагу.

При утере или порче книги читатель обязан купить новую или уплатить ее стоимость.

Библиотека „ЗИФ".

R 9 3/107

E19 T023
К 9 3/107
В75
923 В75

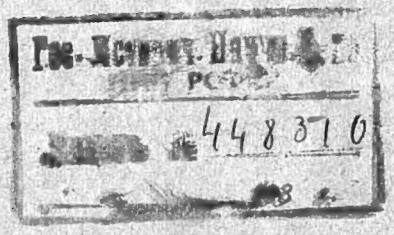
И. Вороницын

У НЕМЦЕВ

Очерки политической тюрьмы и ссылки

Украина
Брест-Лит. крепость
— 1918 г. —
3069
ПРОВЕРЕНО
1930 г. Е. С.

Государственное Издательство Украины
Харьков—1923



ХАРЬКОВ
Вторая Государственная Типография, Гончаровский бульв. 6—2
1922

На пути в Бялу

I АРЕСТ—

II НА ВОКЗАЛЕ. В ДОРОГУ—

III В НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ—

IV В ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

На пути в Бялу

I

АРЕСТ

Стук, стук, стук!

Кто может стучать так рано? В былое время мы знали: обыск, арест... Но теперь, в дни Центральной Рады, насаждающей Народную Республику с благосклонной, и, как нам, членам Центральной Рады, еще так недавно с трибуны повествовал г. Голубович, очень дешевой помощью немцев, казалось бы такого истинно-отечественного стука ждать не следовало.

Однако, еще вчера вечером арестовали д-ра Маргулиса, члена еврейской социалистической партии, гласного городской думы, пользующегося в Житомире широкой известностью врача. Городской голова, А. Ф. Пивоцкий, вызвал меня по телефону из театра, где в ложе думского президиума на мягких губернаторских креслах, соединяя приятное с полезным, заседал комитет меньшевиков. Мы стучались во все немецкие двери. Напрасно все. С нами не хотели даже разговаривать.

Мы не особенно беспокоились, впрочем. Кто-то из немцев, желая от нас отвязаться, прозрачно намекнул на то, что Маргулис арестован по подозрению в шпионаже или в чем-то другом, столь же вздорном и диком. И на наше удивление и возмущение поспешил ответить:

O, ja, ja! Morgen er wird entlassen, seien sie ruhig, meine Herren. *).

*) Будьте спокойны, господа. Завтра его выпустят.

Но когда я поздно вечером пришел к себе домой в рабочий клуб, я услышал, что искали С. С. Горелика. Искали только на той квартире, где он жил несколько месяцев назад. Об этом сообщил тов. Гриншпун, бундовец, столкнувшийся, к счастью, с разыскивавшей Горелика эскуадой и успевший его своевременно предупредить.

Это обстоятельство уже заставило меня насторожиться, и теперь, слыша властный непрекращающийся стук, я понял.

— Немцы пришли.

Можно было бы удрать через задний ход. Но—наивный человек, я воображал, что зарвавшихся немецких гостей сумеет одернуть правительство Украины, столь торжественно клявшееся, что „дружественная помощь" островерхих касок будет носить самый лояльный характер.

„Ну, посижу несколько дней. Ничего в этом страшного нет. Попрактикуюсь в немецком языке, узнаю, чем дышет Михель в стальной каске, о котором я так невежливо отозвался в своей речи в день годовщины революции. Обогащу за то свою коллекцию тюремных воспоминаний.

И я без особой медлительности пошел открывать дверь незванным гостям.

— Кто там?—все таки по-русски спросил я.

— Немецкий офицер. Отворяй, пожалуйста.

Было это так мило сказано, голос звучал так ласково и убеждающе, что не оказать посетителям этой любезности было бы невежливо.

„Немецкий офицер"—серая фигура с каменным лицом, Ефрейтор—прямая противоположность ему: с ласковой улыбкой, бегающими глазками, весь извивающийся от полноты расположения к вам.

— Печальная необходимость. Возможно недоразумение. Но потрудитесь отправиться с нами. Вы арестованы.

Он сказал: „фи арештант".

— Куда?

— На вокзал. Вы едете в Бялу, где будет над вами суд.

„В Бялу, так в Бялу",—согласился я, вспомнив о попугае и кошке.

Но где эта Бяла, что это за Бяла такая,—я не имел ни малейшего представления. Однако, распрашивать не стал, чтобы не выказать непростительного незнакомства с отечественной географией.

— В эту комнату прошу не входить. Моя жена не оделась еще.

Согласились, убедившись, что оттуда задать стрекача невозможно.

Собираю вещи: постель, белье, папиросы, книги,—все честь-честью, как в былые времена, когда раздавалось обычаем освященное:

— Пожалуйте.

Но тут вдруг затруднение. Практика дней минувших научила меня тому, что бритва—предмет запрещенный, и если хочешь бриться, то должен „затырить" ее так, чтобы найти нельзя было. И я готов уже был сунуть ножичек от „жиллета" в ботинок. Но по какому то наитию мне в голову пришло:

„Затырить—затырю. Но может быть у немцев можно".

Придумываю, как это будет по-немецки и спрашиваю офицера.

Проглотившая аршин фигура переломилась. На каменно-безучастном лице появилась гримаса улыбки.

— И нож можно?—почти обрадованный спросил я. И получив снова утвердительный ответ, окончательно повеселел. И пока жена укладывала мне все в корзинку, я попытался поинтервьюировать своих гостей.

— За что вы меня арестовываете?

— Вам не известно? Приказание высшего начальства? А известно ли вам, что, как член Центральной Рады, я должен пользоваться неприкосновенностью? Это тоже вас не касается?

— Ну, а предписание губернского комиссара? Вам уже наверно известно, что на-днях было опубликовано распоряжение о том, что без этого всякие аресты считаются незаконными?

Этот ехидный вопрос я задал, зная, что наш приятель С. И. Куриленко, исполнявший в то время обязанности комиссара, такого предписания относительно нас дать не мог.

Ожидаемый эффект произведен. Немецкая рука полезла за борт немецкой шинели. Бормоча что-то о том, что немецкие власти не подчинены таким мелким сошкам, как губернский комиссар, и что к ним подобное распоряжение не относится, немец протянул мне бумажку помятую и грязную.

С любопытством разворачиваю. С одной стороны—по-немецки, с другой—по украински. Читаю.

Как жалко, что я не обладаю фотографической памятью! Этот документ мог бы служить прекрасной иллюстрацией к истории министерства Голубовича, „социалистического" министерства, или, как его метко в то время окрестили, „министерства народных декораций". Этот документ гласил, что лейтенанту Грамсу даются украинской властью полномочия производить обыски и аресты по его, Грамса, усмотрению. Документ, достойный авторов тайных статей брестского мира! Чудесная погремушка для одураченных голов интриганов от социализма!

А сам этот лейтенант Грамс, которому наши социалистические недоросли давали такое типичное lettre de cachet! Оригинальная фигура.

Ставши во главе тайной полиции—geheime Feldpolizei—в Житомире он явился к А. Ф. Пивоцкому и через переводчика потребовал от нашего почтенного городского головы... заняться доносами.

— Сообщите мне, кого из граждан города вы считаете подозрительными, неблагонадежными политически и смутьянами. Вам гарантируется полная тайна.

Не знаю, у кого побывал он еще и от всех ли получил такую достойную отповедь. О Грамсе нам впоследствии рассказывали несчастные жители Бялы, где он был начальником полиции и откуда, как опытный жандарм, был импортирован на Украину в помощь... господам Голубовичам. Житомир был только одним из этапов его карьеры. В октябре мы встретили его в Брест-Литовской крепости на должности инспектора полиции всей оккупированной области.

Возмущенный прочитанным, я возвращаю бумажку немцу. Мои вещи готовы. Все в порядке.

— До скорого свиданья!—уверенно и весело говорю я жене.

В пустой зале клуба гулко отдается топот солдатских подкованных сапог. Прощальный привет красным знаменам на стенах и портретам вождей.

II

НА ВОКЗАЛЕ. В ДОРОГУ

В городе в этот ранний час было пусто. На пути не встретилось ни одного извозчика, и до угла Михайловской и Киевской мы дошли пешком. Редкие прохожие с удивлением оглядывали странное шествие. Знающие меня делали изумленное лицо:

— Что, мол, за история?

Вокзал. Маленькая комендантская комната, набитая солдатами.

Меня встречают радостные приветствия. Это д-р Маргулис и Гринштун, тот самый Гринштун, секретарь союза печатников, который еще вечером был у нас в клубе, чтобы сообщить о розысках Горелика.

Доктор измучен. В этой крошечной душной каморке немцы продержали его всю ночь в сидячем положении. Они повернулись спинами к своему подневольному гостю, развалившись на всех скамьях, и только издевались над ним, когда он выразил претензию на маленькое местечко для спанья.

Мы обмениваемся впечатлениями, предположениями, теряемся в догадках. Всякий раз, как открывается дверь, мы оборачиваемся и устремляем на входящих вопросительный взгляд: чья еще очередь?

С подобающим эскортом появляются, наконец, с большими промежутками, Кимельблат, гласный думы, еврейский социалист и студент Подгорный—социал-демократ.

— А-а! Теплая компания! Привет и братство!

Становится весело и шумно. Мы все чаще и чаще начинаем хохотать, рассказывая друг другу о подробностях ареста. Немцы сначала удивляются нашему веселому настроению, потом возмущаются, усматривая в этой неуместной, с их точки зрения, веселости—полное неуважение к их авторитету. С их стороны слышится воркотня, а моментами раздаются грубые окрики.

Кроме меня—все налегке. Недостаточно еще опытны. Каждый воображал, что немцы, как дети, поддались на легкомысленную провокацию кого-нибудь из наших многочисленных недоброжелателей из правого лагеря и что это недоразумение моментально раз'яснится при вмешательстве дружественных нам местных властей и самоуправления. И лишь по-немногу и постепенно проникаемся мы серьезностью положения.

Начинаются посещения родственников, товарищей, друзей. Приносят деньги, с'естное, дорожные вещи. Узнаем, что кое-кому из намеченных немцами к высылке удалось скрыться.

Это паломничество все возрастает. Комендатская комнатка постепенно превращается в осажденную крепость. Публика появляется уже и у окна.

Раздались окрики разнервничавшихся немцев. Собравшихся разгоняют. Свидания с нами даются не всем и притом говорить разрешают только по-немецки.

Наступил вечер и нам сообщают, чтобы мы готовились к от'езду.

На нашем горизонте появляется зловещая фигура—сам лейтенант Грамс. Длинный, тощий, прямой, как немецкий штык. Худое бритое лицо с выпуклыми, серыми, мутными глазами. С брезгливым видом, не здороваясь, оглядывает он нас. Вызывает куда-то Маргулиса, который возвращается через несколько минут, чтобы забрать свои вещи. Настойчивые хлопоты его пациентов и коллег-врачей увенчались успехом. Его освобождают.

С нами ему говорить не дают.

А затем, когда счастливый доктор ушел, через переводчика Грамс сказал нам следующее:

— Вы здесь вредны... Вас мы отправляем туда, где вы будете безвредны... для интересов немецких войск. Но вы не бойтесь—ваша жизнь в безопасности. Мы не москали и убивать вас не будем. Там вы будете иметь некоторую свободу передвижения, вам только укажут границы, за которые выходить будет нельзя. Ведите себя хорошо и вам будет хорошо.

Как напомнила мне эта последняя фраза былые времена, когда одетые в серые бушлаты, с цепями на ногах и

на руках, мы, русские революционеры, должны были покорно выслушивать из уст безграмотной и пьяной скотины, одетой в мундир тюремного ведомства, подобное же:

— Если ты будешь плохо вести себя, то...

И еще одна фраза:

— Вам нужна перемена воздуха!—вызвала во мне яркое воспоминание из юных лет.

Прокурор Харьковской Судебной Палаты, впоследствии начальник Главного Тюремного Управления—Хрулев, в одиночной келии Харьковской тюрьмы сообщает мне о ссылке.

— Вы, молодой человек, слишком пылки. Вам нужна перемена воздуха и мы находим, что климат Архангельской губернии самый для вас подходящий.

Меняются времена, меняются и люди и форма их одежды, но слова и самая сущность этих слов—одни и те же.

Целый вагон четвертого класса в нашем распоряжении. Наши конвоиры—их четверо—предоставляют нам выбрать место и мы устраиваемся прекрасно. Последнее неудобство—холод—устранено: солдаты затопили печку, на которой мы вскипятили чай.

Шум поезда, покачивание вагона усыпляют нас.

Сквозь дремоту я вспоминаю забытый среди треволнений дня факт: сегодня ведь по старому стилю 3 марта. Год тому назад, после долгих-долгих лет неволи открылись для меня в этот день двери каторги. Шум веселой возбужденной толпы, радостные лица, красные флаги и банты. Казалось, навсегда, в мрачном прошлом, потонуло это: тюрьма, ссылка, изгнание, цепи. Освободившаяся страна в мощном порыве устремилась вперед.

Всего год минул—и снова мы у старого корыта. Серые шинели, винтовки, щелканье затворов и угроза:

— Если вздумаете бежать, будем стрелять.

* * *

Коростень, Сарны, Ровно. Мы едем с долгими остановками. В пути наблюдаем возмутительные картины отношения „завоевателей" к „покоренному" населению. Особенно отличаются офицеры. Они пускают в ход хлысты, если не-

достаточно быстро и на не слишком почтительное расстояние расступаются перед ними простые смертные. За один столик с ними, без специального разрешения, в буфете сесть нельзя.

Навстречу эшелон за эшелоном движутся немцы. Вот и „синие жупаны"—военнопленные украинской национальности, везомые торжественно немцами в качестве живого подарка от Вильгельма „народной республике". Тягостное впечатление производят эти измученные, отощавшие на немецких харчах люди, выряженные в новехонькую бутафорскую одежду нелепого кричащего фасона. Синими жуками греются они на весеннем солнышке родины и какое-то недоумение видно в их глазах, глазах узника, мечтающего о свободе и тоскующего по ней, далекой.

Проезжаем через опустевший театр военных действий.

Бесчисленные могилы. Кладбище, растянувшееся на десятки верст. Разрушенные деревни, сгоревшие дома. Страшное безлюдье. Все ближе и ближе к позициям.

Дальше поезд не идет и мы вылезаем. Наши немцы забегали, захлопотали. Предстоит много верст пешего хождения и эта перспектива им не улыбается так же, как и нам. После долгих разговоров нас кое-как, со всеми пожитками, устроили на до-нельзя набитом людьми грузовом автомобиле. И мы трясемся на тяжелой машине по исковерканному, изрытому, еще незаровненному шоссе, мимо окопов и проволочных заграждений, мимо поваленных лесов, мимо вырытых в земле снарядами воронок, мимо бесчисленных, жалких своею заброшенностью, могил.

Голобы. Всюду немецкие надписи, целая система надписей, вводящих всякого приезжающего в курс расположения всех комендантур и учреждений. Во всем видна организованность, все разработано до мелочей. Мы не можем удержаться от похвалы и этим доставляем своим конвоирам патриотическое удовольствие.

Заходим в солдатскую лавочку—Marketenderei—с целью пополнить свои запасы. Потом в солдатском клубе, обставленном с поразительными при такой близости к позициям удобствами, пьем кофе, пиво. Тут же обмениваем у едущих

на Украину солдат русские деньги на немецкие не без того конечно, чтобы по неопытности в такого рода сделках не потерять на этой операции.

От Голобы до Ковеля в австрийском вагоне пересекаем полосу австрийской оккупационной зоны. Нет уже прежних удобств и порядка, грязь и безалаберность, живо напомнившие нам покидаемую родину.

В Ковеле бесконечно долго ждем поезда на Брест. В огромном, тускло освещенном подземном зале вокзала, битком набитом разноплеменной и разноязычной солдатской толпой. Ночь уже. Духота и вонь. На многоярусных нарах, как селедки в бочке, лежат эти несчастные. Другие, еще более несчастные, не нашедшие себе места на нарах, полусидя-полулежа примостились у стен и колонн, а по их ногам и телам топчутся те, кто совсем нигде и ни к чему не с'умели приткнуться. Наши конвоиры очистили для нас местечко на полу у стены, грубо согнав покорных, как бараны, австрийцев.

Приходит поезд. Мест нет. Австрийцы ничего не делают для наших немцев. Ждем еще. Наконец, в товарном поезде в'езжаем в полосу немецкой оккупации.

III

В НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

Брест-Литовск. На красивом здании вокзала следы разрушения. Вокруг него груды развалин. Один из крупных железнодорожных узлов когда-то, теперь Брест почти совершенная пустыня. На бесконечном разветвлении путей почти не видно вагонов.

Нас загнали в какую-то конуру, где несколько человек гражданских пассажиров ожидали поезда на Варшаву. Из комнатки этой выходить на перрон до прихода поезда никому не разрешалось.

Усатый жандарм сидит тут же. Он приставлен к этой комнате, предназначенной для частных лиц. Его обязанность следить за порядком и за разговорами и так как он понимает только по-немецки, то разговоров тут почти не слышно.

Формально, может быть, и не запрещено говорить по-русски и по-польски, но таков уж страх, внушаемый немецкой каской, что обыватель предпочитает молчать, чем вызвать ее неудовольствие.

Жандарм нами заинтересовался. Получив соответствующие раз'яснения, он, глубокомысленно покачивая головой, произносит:

— Ja! Ich bin auch ein Sozialdemokrat!

Тоже социал-демократ.

Когда Кимельблат выражает некоторое сомнение в этом, немец обиженно умолкает и отворачивается.

Подбодренная нашей развязностью публика тоже любопытствует, но рассказывает вообще мало. Пребывание в оккупированной зоне кого угодно приучит к молчанию.

Военнопленные—их было там несколько человек—гораздо смелее. Они не особенно стесняются ругать немцев, но в общем производят впечатление людей забитых и обезличенных.

Приходит поезд. Чистенькие вагоны, весь поезд блещет аккуратностью. Нас помещают в особом купе. Через два часа мы будем в Бяле. Скоро конец неопределенности и недоумению. Тюрьма или свобода, хоть и ограниченная полицейским надзором? А может быть концентрационный лагерь?

В дороге мы всячески распытывали у наших конвоиров, что и как с нами будет. Они нас уверяли, как и Грамс в Житомире, что мы будем находиться под надзором полиции. Несколько приручившись, они нам показали даже ту сопроводительную бумажку, которую они должны были доставить вместе с нами по начальству.

Признаюсь, с чувством разочарования и обиды вернул я ее обратно солдату. Такого пренебрежительного отношения к человеку я никогда еще не встречал. Ни имен, ни фамилий арестантов в этой бумажке не заключалось. Не указывалось—ни за что, ни на какой срок, ни куда, ни зачем мы ссылались.

Полное нарушение всех традиций этапного следования!

Пять арестантов сопровождаются такими то солдатами. Подпись—лейтенант Грамс.

Все написано карандашом. Ни печати, ни указания— кому адресована бумажка.

— Нас же всего четверо. Пятый ведь отпущен,—говорю я немцу.

— Ничего, мы скажем, что его отпустили.

Вот и хваленая немецкая точность! При такой системе возможны злоупотребления. И злоупотребления бывали. Например, в Бресте у нас в лагере томились два человека, схваченных просто „для счета". Случилось это так: везли партию ссыльных откуда-то с Правобережья. Недалеко от Гомеля двое из них воспользовались оплошностью конвоиров и „смылись." Когда их отсутствие было замечено, солдаты заволновались:

„В бумажке сказано двадцать человек, а мы можем сдать всего восемнадцать. Как тут быть?"

Солдатская изобретательность пришла на помощь. В бумажке ведь не названы фамилии. А недостающее число голов можно легко пополнить. Много этого быдла кругом шатается. И на первой же остановке лезет немец в первый попавшийся вагон встречного поезда, тычет пальцем в первых двух на глаза попавшихся пассажиров:

— Иди, пан! иди, пан!

И послушные „паны", не понимая, в чем дело, оставляют в вагоне свой багаж, лезут за солдатом в арестантский вагон и... едут в Брест дожидаться германской революции в Ukrainerlager'e.

Описанный мною факт может показаться вымыслом: он дик до нелепости с точки зрения простого человеческого здравого смысла. Но он в то же время прост, элементарен и последователен с точки зрения той подлой системы, которая органически выросла из психики победоносного юнкерства, на свой ограниченный салтык хозяйничающего в покоренной стране, и которая в первую очередь выражается в признании человеческими личностями лишь тех особей человеческого вида, которые носят каску или прусскую фуражку и у которых на поясной бляхе имеется надпись: „Gott mit uns!" (с нами бог).

Таких возмутительных вещей наблюдали мы много за восемь месяцев тюрьмы и лагеря. И всегда, внимательно вглядевшись, находили источник, зерно всего этого в том ядовитом и вредном угаре юнкерской самовлюбленности, ограниченности, непроходимой глупости, которая пропитала всю армию кайзера сверху до низу, которая держала в гипнозе дисциплины хорошую в большинстве массу солдат и которую смогли стряхнуть только страшные поражения на западном фронте.

Немецкий солдат—самый обыкновенный солдат. И, как всякий солдат, он в описанном случае, и во многих других случаях, рассуждал по-солдатски:

— Начальство там разберется. А если я не представлю полного числа голов, пострадает моя собственная голова.

Выдумка его удалась. Правда, начальство так и не разобралось, что такое случилось и почему шумят эти люди, доставленные из мятежной Украины по всем правилам искусства. Но это обстоятельство и доказывает как раз, что виновата система, отличавшаяся внешней непогрешимостью и внутренней гнилью и разложением.

* * *

Бяла. На улицах тихо и чисто. Везде немецкие надписи: на углах улиц, на вывесках лавок, всюду. Редко-редко заметишь кое-какие, не совсем еще стершиеся следы русского владычества.

Гражданское население—почти исключительно еврейское.

На женщинах парики, мужской пол от мала до велика с пейсами. Однообразные старомодные лапсердаки почти на всех, головы покрыты шапочками без козырька, старики в ермолках. Европейских костюмов почти не видно в этом типичном польском гетто. Лица изможденные и со следами болезней. Физические уродства встречаются на каждом шагу. Отовсюду на вас смотрит безграничная нищета, униженность, забитость.

При появлении на улице немецкого офицера головы мужчин рабски обнажаются. А он, гордый и равнодушный, даже не замечает этих знаков покорности. Впрочем, впо-

следствии я узнал, что это незамечание деланное. Если чья-нибудь голова по какой-либо причине не обнажится, это не пройдет безнаказанно. Виновный в столь дерзком проявлении непокорности и неуважения к победителю будет избит тут же, на месте. Не минует его и тюрьма и денежный штраф.

Этот закон об обнажении головы перед офицерами относился не только к местному населению. Я помню, как один из товарищей, отпущенный из лагеря с конвойными в город к зубному врачу, удостоился замечания от коменданта города, майора:

— Вы должны снимать шапку перед немецким офицером.

Мы прошли весь город, вызывая со стороны населения острое, немое любопытство к себе. С своей стороны, этот своеобразный городок с его странными жителями поражал и нас на каждом шагу. Все было для нас ново и необычно, и мы жадно подмечали всякую мелочь, всякий штрих этой напоминавшей средневековье среды.

Действительность—немецкая действительность—вдруг грубо напомнила о себе. Мы шли по узкому тротуару, хотя конвоиры и требовали от нас, чтобы мы вышли на середину улицы. Шли и, смотря по сторонам, не заметили, что нам навстречу идет немецкий офицер, пожилой и в чинах. Я говорю: не заметили, но возможно, что мы с непривычки и не учли всего значения и всей важности этого явления. Резкий звук пощечины привлек наше внимание. Шедший впереди Гриншпун не посторонился с достаточной поспешностью перед его высокоблагородием и рука в белой перчатке покарала его на месте. А этот мерзавец, это воплощение кастовой подлости немецкого юнкерства, не останавливаясь, величественно проплыл дальше. Мы стояли точно пораженные громом. Только полной неожиданностью и мутящей разум необоснованностью этого насильнического акта об'ясняю я себе, что мы не реагировали ничем тут же, на месте на происшедшее. Хоть бы одно резкое слово, клеймящее эту гнусность! Языки развязались только тогда, когда, насильник был уже далеко. Конвоиры наши даже не моргнули: с их точки зрения, это было в порядке вещей и они пожимали плечами, слыша выражения нашего негодования.

Вот и здание с надписью Geheimfeldpolizei—тайная полиция.

Везде, куда более или менее прочно ступала нога немецкого солдата, как из под земли выростало это учреждение и в мгновение ока расправляло над населением свои щупальцы. Оно играло ту же роль, что жандармские управления и охранка у нас при старом режиме, контр-разведка у белых и політичні відділи при директории.

Политический сыск и провокация, избиения и взятки быстро делали свое дело. В несколько дней население оказывалось в паутине доносительства и соглядатайства. Жизнь замирала и воцарялся страх и трепет.

С предчувствием предстоящих неприятностей поднялись мы по лестнице на второй этаж. Старший конвоир наш, весь вдруг подтянувшийся, вошел в дверь, приказав нам ожидать здесь на площадке. Другой, поднявшийся с нами, солдат тоже подобрался. С лица его бесследно исчезло выражение приязни и сочувствия, которое постепенно в течение пути сменило оффициальную натянутость первых часов. Он стукнул прикладом о каменную плиту лестницы и точно замер.

IV

В ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

Вошедший в дверь конвоир наш долго не возвращался. Повидимому ему пришлось подробно раз'яснять положение вещей.

Наконец, дверь открылась. Появился какой-то затасканного вида суб'ект без мундира, в одной жилетке, с засученными рукавами рубашки. Это был начальник Бяльской тайной полиции, первоклассный взяточник и держиморда, как мы узнали впоследствии от обывателей и от полицейских из местного населения, с которыми пришлось столкнуться в тюрьме. Он долго осматривал нас, переводя глаза от одного к другому, и, кончив осмотр, глубокомысленно уставился в потолок.

— Как зовут? Большевик?—спросил он, наконец, одного из нас на каком то польско-русском воляпюке с сильным немецким акцентом.

Услышав от меня в ответ на такой же вопрос, что, мол, не большевик я, а меньшевик, социал-демократ, он безапелляционно отрезал:

— Это одно и то же.

Начался обыск. По очереди нас стали вводить с площадки лестницы внутрь, причем наблюдали за тем, чтобы вещи не оставались снаружи. Уходивший назад не выходил и так как за первым очень долго не вызывали второго, нас стало охватывать беспокойство. Невольно возникал вопрос:

— Что проделывают там эти охранники с товарищем? От этих немецких ищеек всего можно ожидать.

И только в свою очередь, подвергаясь этой таинственной операции, каждый убеждался, что опасения были напрасными.

В задней комнате суб'ект с засученными рукавами с ловкостью сыскных дел мастера выворачивал карманы, рылся в вещах, залезал всюду, где он надеялся найти хоть что нибудь рукописное или печатное, доказывающее нашу принадлежность к большевизму.

У меня он особенное внимание обратил на книги.

Собираясь в Бялу, я захватил второпях первые попавшиеся под руку книжки, лежавшие на столе. Тут была и французская книга Ренака по истории религий, и „Экономическое Обозрение", какая-то повесть Винниченко и „Катехізм українця", закон о выборах в украинское учредительное собрание и т. д.

Увидав французскую книжку, немец набросился на нее: нет ли чего против „фатерланда", доказывающего, что я придерживаюсь ориентации на Антанту. Кое-как прочитав заглавие и определив год издания, он, однако, со вздохом разочарования должен был признать ее к чтению дозволенной. Но „катехізм" заставил его насторожиться.

— Es ist ein verbotenes Buch!—решил он.

Запрещенная книжка. Я с удовольствием согласился бы запретить ее к распространению за те призывы к физическому истреблению „москалів, ляхів, жидів та румунів",

которые в ней содержались. И когда он отложил, любовно похлопывая по ней ладонью, эту шовинистически-мракобесную нелегальщину в сторону, я невольно рассмеялся:

— Валяй! такой дряни не жалко.

Кучка „нелегальной литературы“ все возрастала. Рука интернационального сыщика не пощадила и Винниченко и даже... закон о выборах. Он, несомненно, был украинофобом.

В результате, кроме истории религий, книги действительно в свое время запрещенной, как атеистическая, у меня на руках остались и книжки марксистского „Обозрения“.

Хуже стало, когда очередь дошла до бумаг. При аресте, несмотря на всю свою опытность, я совершенно не подумал о том, чтобы пересмотреть содержимое бумажника. Паспорт, партийный билет, билет, свидетельствующий о моей принадлежности к Центральной Раде,—все по очереди рассматривалось и комментировалось.

Хлебная карточка заставила его проникнуться уважением к Украине.

— О, у вас тоже есть порядок в распределении пищи.

— Очень маленький,—ответил я, не желая, с одной стороны, ронять достоинство представляемой мною державы, а с другой стороны, избегая слишком уж уклониться от истины.

— Ничего, скоро мы установим у вас полный порядок,—утешил он меня.

Ловкие, тонкие пальцы продолжают перебирать содержимое бумажника.

Он смотрел на свет деньги: не фальшивые ли? не дырявые ли? И хотя они оказались не фальшивыми, он все же счел нужным поставить мне с укором на вид, что у меня плохие деньги.

— Плохие? Почему?

— Очень помятые. Свет сквозь них видно. Их обменят вам только по оффициальному курсу. А если б деньги были новенькими, вы получили бы за них гораздо больше на немецкие деньги.

— А если немецкие деньги с дырками, тогда их тоже дадут больше при обмене на хорошие русские?

Он презрительно фыркнул и посмотрел на меня с таким видом, с каким мы с вами смотрим на детей, задающих нелепые вопросы не подлежащие ответу. Однако, ответа он меня все же удостоил:

— Немецкие деньги всегда хорошие деньги, потому, что их принимает имперский банк.

„Заем свободы" его заинтересовал.

— Что это такое?

Об'ясняю. В ответ слышу многозначительное:

— А-а!!

К вещам моим он отнесся более снисходительно, чем к вещам моих товарищей. Он не заставил меня даже снять сапоги, ощупав лишь подошвы снаружи. Поверил на слово, что в чулках я не храню компрометирующих меня, как опасного большевика, документов.

И лишь затем, наконец, спросил:

— Как вас зовут?

— Ну, а протокол вы составите?—спрашиваю.

— Протокол? Для какой надобности протокол? У нас ничто не пропадает.

Я удовлетворился. Чего еще от них требовать после всего виденного. Но, к слову сказать, все мои документы. равно как и отобранная „нелегальщина", исчезли бесследно. И когда, уже после революции, при освобождении, мы стали хлопотать о возвращении отобранных бумаг, нам ответили:

— Пропали. Отчего вы не взяли расписки?!

Наконец, мы снова все четверо вместе.

В прихожей приводим в порядок одежду и вещи. Ощущение такое, точно испачкались в чем-то невыразимо грязном, после чего надо мыться и чиститься.

В комнате начальника тайной полиции происходит между тем какое-то совещание. Минута за минутой тянутся в томительном ожидании. Доносятся разговоры по телефону и звук нескольких голосов, оживленно обсуждающих что-то.

— В тюрьму посадят. Ясно, как день!

Немец с рассыльной книгой пригласил нас следовать за ним.

* * *

Снова на улице. Проходим несколько кварталов и, наконец, вот она, матушка:

— Zivil und Militär Gefängnis.

Замазанная краской, но неистребимая, сохранилась и русская надпись:

Т ю р ь м а.

Ждали несколько минут в переднем дворике. Толстый упитанный немчик средних лет—дома он был, конечно, колбасником, хотя и носит фамилию Мюллер,—через маленькую калитку в воротах ведет нас во внутренний двор.

Двухэтажное здание тюрьмы выделяется из многих виденных мною тюрем претензией на архитектурную кокетливость. Маленькие оконца внизу, большие на втором этаже. Бледные лица, прильнувшие к решеткам... знакомая картина!

Поднимаемся по ступенькам. Сразу же налево дверь: Aufnahmezelle—приемная камера. Когда-то, в русские времена, как гласит металлическая табличка над дверью, это была „комната для свиданий“. Немцы подобной роскоши не признают. Экономят пространство.

Гремит железный болт, звенят ключи. В передней камере нас не оставляют. Открывают следующую дверь, уже не сплошную, как первая, а с „глазком“ квадратной формы. Мы входим во второе отделение этой тюремной „приемной“.

Вдоль стены покатые нары, сидеть на которых нельзя из-за барьерчика, предназначенного удерживать солому, которой, кстати сказать, на этих нарах мы не находим и следа. Ни стола, ни скамейки. Высоко под самым потолком маленькое оконце, забранное массивной решеткой.

Бяла

I В БЯЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ—
II В ЛАГЕРЕ. ЖИЗНЬ В ПЯТОМ БАРАКЕ—
III СНОВА В ТЮРЬМЕ—
IV ЕЩЕ О ЖИЗНИ В ЛАГЕРЕ

Бяла

I

В БЯЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ

В камере, куда нас посадили вечером, мы пробыли всего лишь ночь и часть следующего дня. Это был своего рода тюремный карантин. Нас должны были предварительно очистить от всякой скверны. И с этой целью отвели в баню.

Гражданская баня, устроенная немцами для населения, вещь заслуживающая хотя бы краткого описания. Это не только учреждение, но и система также. Система, пожалуй, главным образом.

Все граждане, мужчины, женщины и дети от известного возраста—обязаны раз в две недели появляться в этом учреждении и в течение пяти минут простаивать под теплым душем. Будут ли они добросовестно мыться, употребляя для этого мыло и мочалку, или ограничатся пассивным преклонением перед струйками льющейся на них воды,— это дело их гражданской совести.

Всем посещающим ведется строжайшая регистрация. И если кто либо по тем или другим причинам уклонится от этой повинности, он неминуемо должен будет искупить свое преступление тюрьмой и штрафом.

За мое двукратное пребывание в Бяльской тюрьме, мне часто приходилось от соузников, встреченных во время прогулки на тюремном дворике, слышать:

— Не явился в баню, потому и сижу.

Особенно много за это сидело женщин, молодых девушек, большею частью. Оказывается, немцы совершенно не считались с особенными свойствами женского организма и требовали обязательного посещения бани в определенный

день. Люди состоятельные за мзду освобождались от банного удовольствия, но среди еврейского населения этого городка находилось очень мало лиц, могущих платить, хотя и надо отдать справедливость немцам, они не были в вопросах бакшиша особенно прижимистыми.

В бане всегда присутствовал унтер, не стеснявшийся заходить в комнату с душем, когда там мылись женщины.

Впрочем, унтер был очень добродушный и малоподвижной парень, ультра-патриотически настроенный и с чисто тевтонским пафосом декламировавший патриотические стихи и распевавший фальшивым голосом „Die Wacht am Rhein". Впоследствии, спустя несколько месяцев, я встретил его уже в качестве тюремного надзирателя и с большим удовольствием беседовал с ним на политические темы. В баню же вместо него оказался назначенным маленький, худой и бесконечно злющий ефрейтор.

Когда я просил немного продлить пятиминутный душ, чтобы как следует вымыться, он кричал на банщика и собственноручно закрывал горячую воду. Приходилось заканчивать мытье под холодной струей.

И, наоборот, когда требовали воды похолоднее, он закрывал холодный кран.

Он чуть не сварил в кипятке на моих глазах старика, еврея. Когда бедняга отскочил от черезчур горячей воды в сторону, мучитель схватил палку и сильными ударами по голому телу погнал несчастного под душ. Только наше вмешательство прервало эту гнусную сцену.

* * *

Жизнь наша в тюрьме быстро вошла в колею.

Нам удалось добиться, чтобы к нам относились как к политическим и избавили от совместного пребывания в одной камере с арестантами хуже, чем уголовного сорта. Это были проворовавшиеся и уличенные в слишком уже бесцеремонном, даже на немецкий взгляд, взяточничестве агенты полиции из местного населения. Эта публика, ненавидимая жителями за их вечные поборы, пользовалась покровительством властей даже в тюрьме за те услуги,

которые они оказали в деле выкачивания последних грошей бедняков.

Пусть не удивляется читатель сказанному выше. Война оказала поразительно развращающее влияние на сменивших бюргерские костюмы на защитную одежду немцев. Лоск европейской культуры с ее твердыми понятиями о порядочном и бесчестном улетучился сразу при столкновении с покорным, безгласным и беззащитным населением завоеванных местностей. Эти нравственные представления оказались просто синонимами таких понятий, как дозволенное и недозволенное. И поскольку для победителя недозволенное было сужено до крайности, а дозволенным стало почти все, аппетиты разгулялись, стяжательство, в мирное время и в своей стране выражавшееся в „благородных" и „корректных", законом и обычаями освященных формах, здесь приняло формы турецкие и китайские, вылилось в такую непроходимую азиатчину, что даже у нас, не избалованных европеизмами русских, зачесались затылки от удивления. Взяточничество и поборы под всякими соусами в оккупированной зоне процветали при немце в бесконечно большей степени, чем в предшествовавшие времена русского владычества. Исправники, пристава и урядники стригли население этого обиженного историей и цивилизацией края во-всю, немцы же, не ограничиваясь стрижкой, сдирали с него шкуру.

Майор—комендант города, этапный судья, целая туча военных чиновников, полиция наружная и тайная, вплоть до самых мелких сошек, вроде ефрейтора—надсмотрщика в бане—дружно работали, выжимая соки из несчастной бедноты деревень, местечек и городков. И эта работа производилась, конечно, не для блага дела и не для процветания любимого фатерланда. Гроши бедняков превращались в посылки с салом, маслом, в поросят и кур, которых верная оказия или полевая почта с чрезвычайной скоростью доставляла в города и деревни Пруссии, Баварии, Саксонии...

Много фактов взяточничества и вымогательства узнали мы от пестрого стада заключенных в тюрьме обывателей

всех национальностей, которые развязывали с нами свои языки, зная, что мы с их мучителями вовсе не друзья.

* * *

Быстро огляделись мы в новой обстановке. Небольшими подачками расположили в свою пользу старого ключника Юнга, а затем сменившего его в нашем коридоре молодого, всегда вооруженного палкой, Фика. Благодаря этому, мы могли не слишком опасаться нахождения у нас запрещенного табаку, наша дверь частенько бывала открыта в неположенное время.

Сам сержант, исполнявший обязанности начальника тюрьмы, стал нам благоволить после того, как мы сумели решительно заявить о своих правах.

Он называл себя социал-демократом шейдемановского толка. Но его социализм не мешал ему избивать нагайкой — жестоко избивать—тех из заключенных, кто имел несчастье вольно или невольно в чем нибудь провиниться.

Вообще избиения и в тюрьме, и в лагере для военнопленных практиковались широко. Палка работала во-всю. Избиениями занимались не только нижние чины, но и офицеры. Избивали не только мужчин, но и женщин.

Следующий инцидент особенно запечатлелся в моей памяти.

Вернувшись как-то с прогулки в свою камеру, я прилег на нары и стал читать не то книжку, не то газету. Ключник, недавно назначенный в женское отделение,— моя камера за неимением подходящей в мужском, была как раз в этом отделении на втором этаже,—долго не приходил. Я слышал, как он отворял двери у женщин внизу, выпуская их на прогулку. Потом его шаги послышались на лестнице. Он поставил свою палку в уголок, постоял у окна коридора и, наконец, стал возиться возле двери, очевидно желая войти, но не решаясь.

— Herein! Войдите!—крикнул я.

— Я вам не помешаю?

— Нисколько, пожалуйста,—пригласил я его сесть на нары, так как другой мебели у меня в камере не было.

Он остался, однако, стоять и между нами завязался интересный разговор.

Собеседник мой оказался образованным молодым человеком. До войны он был художником. Много путешествовал. Жил долго в Париже. Свободно говорил по-французски и немного по английски. Удивился моему знанию этих языков и проникся еще большей симпатией ко мне.

— Я тоже социалист,—сказал он.—И потому именно меня не произвели в офицеры. Я слишком открыто проповедывал о необходимости всеобщего братства.

С горечью и возмущением воскликнул:

— И они меня загнали в эту еврейскую дыру (jüdisches Loch) чтобы я был цепной собакой! Нас бьют уже во Франции (это было в августе) и я очень, очень рад этому. Я очень люблю Францию и не хотел бы...

В это время внизу раздался громкий женский смех и взвизгивания. Прекрасный пол, пользуясь исчезновением ключника, видимо расшалился.

Мой новый приятель прервал свои излияния.

— Verfluchte Jüdinnen! Проклятые еврейки!—воскликнул он и стрелой устремился в дверь.

Его подбитые гвоздями сапоги загрохотали по лестнице и через мгновенье послышались удары палкой по человеческому телу и восклицания боли.

Когда он вернулся ко мне, я сказал ему только:

— О таком социализме во Франции, которую вы так любите, еще не слышали.

С тех пор в конфиденциальные разговоры со мной он не вступал.

Но избивать беззащитных продолжал, конечно.

Надо пояснить здесь, что в это время немецкие солдаты почти поголовно стали называть себя социалистами. Но это формальное исповедание новой веры отнюдь не производило в них такого радикального изменения индивидуальной психики, чтобы навыки и понятия, приобретенные за годы войны, пошли на смарку. Взятые в массе они, конечно, были уже не теми, какими вступали на стезю войны. Их коллективная психика претерпела, бесспорно,

огромные изменения. Но, за редкими исключениями, социализм у отдельных солдат выражался в бунтарском настроении, в пораженчестве, в острой ненависти к господствующим классам, к Гогенцоллернам, к дипломатам и военноначальникам, словом, ко всем тем, на кого, как на виновников войны, указывали социалистические газеты, получившие к тому времени большое распространение. Рост этих настроений происходил на наших глазах. Фронтовая газетка, продававшаяся в Бяле,—Bug-Zeitung совершенно перестала удовлетворять солдат. Не удовлетворяли их буржуазные, консервативные и либеральные газеты; они предпочитали всем им „Vorwärts", которая зачитывалась до дыр. Другие социалистические газеты, более радикальные, до них не доходили регулярно, так как полевые книжные киоски, несмотря на все требования, их не выписывали. И если газеты независимых и спартаковцев все таки были известны, благодаря живой связи с родиной через отпускных, то на массе влияние их почти не сказывалось.

* * *

День проходил за днем в полной неизвестности о нашей дальнейшей судьбе.

Монотонная тюремная жизнь действовала на нервы. Организм с каждым днем все больше и сильнее реагировал на испытываемые лишения.

Без движения на воздухе, без сколько нибудь сносной пищи...

Нас выпускали лишь на короткие прогулки в тюремном дворике. Кормили нас лишь настолько, чтобы нельзя было непосредственно умереть голодной смертью. Небольшой кусок хлеба—так в $^3/_4$ фунта весом на весь день, в обед миска—литр супа из брюквы, утром и вечером по литру жидкого несладкого кофе,—вот и все.

Если бы мы не имели с собой некоторой, весьма, впрочем, небольшой суммы денег, мы очень быстро превратились бы в такие же жалкие тени, какими были во множестве сидевшие в тюрьме за разные проступки русские военнопленные. Бледные и изможденные, с глубоко впавшими

в орбиты глазами, с лихорадочно блестящим взглядом голодной собаки, эти люди вечно искали завалившейся корки хлеба, подбирали крошки, выпрашивали у получавших пищу из дому бяльцев остатки их обеда, обхаживали арестованных немецких солдат, пользовавшихся особой улучшенной пищей. Русские пленные буквально таяли на наших глазах. Среди них свирепствовал туберкулез и другие болезни, и многие из них умирали.

Наши деньги приходили к концу и в силу полной отрезанности от родных мест мы были вынуждены экономить во всю.

Каждую неделю устраивали мы торжественное заседание, посвященное бюджетным прениям. Сколько хлеба прикупать к казенному пайку? Какую сумму передать на волю местным буидовцам, с которыми мы вскоре по приезде связались, чтобы они нам закупили провизию? Покупать ли немецкий пайковый хлеб, черствый, с большой примесью всяких суррогатов, малопитательный, или более дорогой, более вкусный ржаной хлеб?

Не бывавшему в таких или подобных обстоятельствах читателю трудно представить себе, как важны были для нас эти вопросы. И странным наверное покажется, если я скажу, что на этой почве наша маленькая, но дружная семейка не раз переживала острые кризисы.

Наша камера была довольно большой для пяти человек (к нам четверым житомирянам присоединили еще одного политического из Дубно). Но удобств, которые обычно существовали в русских тюрьмах, у нас не было.

Когда то, в русские времена, в этой камере были опускные брезентовые койки. Но немцы их сорвали и построили покатые нары, кишевшие клопами. Вторые рамы у окон тоже были использованы для других надобностей и весь март и большую часть апреля мы сильно страдали от холода.

По вечерам никакого освещения не полагалось и даже за собственный счет мы не могли приобрести свечей, так как немцы боялись огня пуще всего.

Было много других неудобств и лишений, не отзывавшихся в такой степени на организме, на нервной системе, но какая же тюрьма свободна от этих шипов.

Нас никто не посещал из начальства. Нашим положением никто не интересовался. И, наконец, мы послали резкое заявление о невыносимости нашего положения на имя этапного судьи и в тайную полицию.

Первый не отозвался ни словом, тайная же полиция, за которой мы непосредственно числились, явилась к нам в образе сержанта и вахмистра, вредного старикашки с седой козлиной бородкой, с взглядом присяжной ищейки, злого и гонористого, с которым мне впоследствии пришлось два раза остро столкнуться.

— Achtung!—крикнул нам, вводя посетителей в камеру, наш тюремный сержант.

Этот возглас равнялся, приблизительно, нашему российскому: — Встать смирно!

Я помню, как всегда нас в русских тюрьмах коробила эта гнусная формула, требующая, чтобы узник всем своим внешним видом выражал покорность и подчинение пред лицом входящего тюремщика. Но только в самых худших по своему режиму каторжных тюрьмах требовали от политических „вставания смирно“ в полном об'еме. Большею частью начальство, входя, в камеру политических, на этот возглас впускающего надзирателя отрицательно махало рукой и говорило:

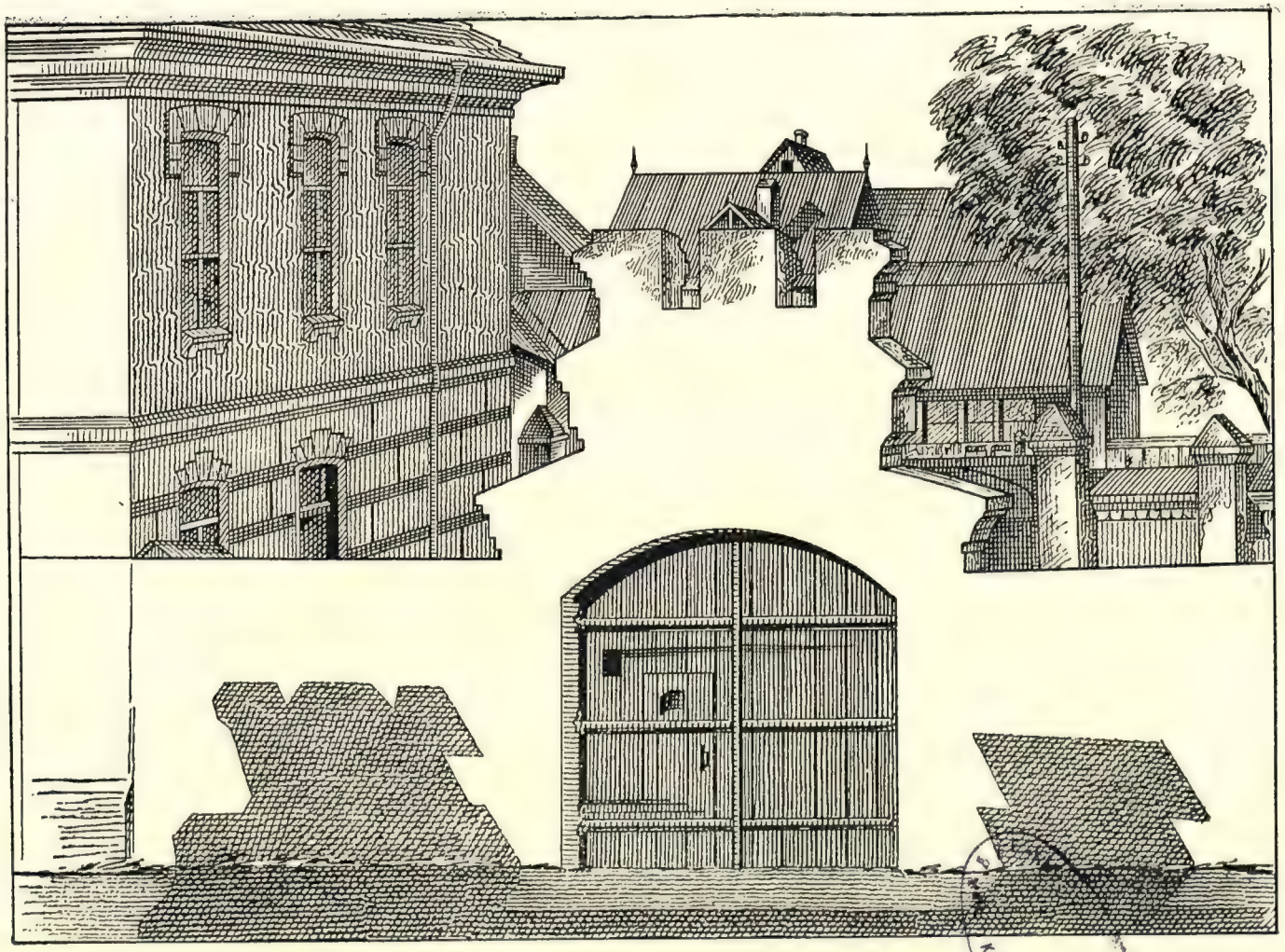
— Не надо! Не надо!

Вошедшая в камеру парочка только молча и неодобрительно окинула взором наши вольные позы.

Завязался разговор, преимущественно между самими немцами.

— Света не полагается,—категорически заявил тюремный сержант на вопрос сержанта полицейского. — Только комендант мог бы разрешить отступление от правил, но он этого не сделает.

— Они спят вовсе не на голых нарах,—сказал дальше тюремный сержант, указывая на сложенные на день одеяла.



Ворота Бяльской тюрьмы (вид камеры)

— У нас нет лишних тюфяков, а имеющиеся все находятся у немецких солдат.

И разговор продолжался дальше в том же духе.

Усмотрев клопа на воротнике одного из нас, полицейский вахмистр изобразил на своей козлиной физиономии приятное удивление и, тыкая пальцем в направлении несчастного насекомого, неосторожно пожелавшего при дневном свете утолить свой голод, ласково произнес:

— Wanze! Клоп!

После посещения, однако, мы получили на всех три штрозака (соломенных тюфяка), набитых вместо соломы деревянными стружками, специально вырабатываемыми на лесопильных заводах для замены соломы и называемыми немцами Holzwolle, т.-е. деревянная шерсть.

Других результатов этот визит не имел.

С клопами мы продолжали бороться собственными слабыми силами, разбирая нары и каждую доску подвергая обтаптыванию ногами. Но клопы упорно не исчезали.

* * *

Не изменилось также и наше общее положение. Ни допроса, ни обвинения, ни определения срока тюремного заключения. На все наши приставания,—а приставали мы к немцам частенько,—нам отвечали, что дело находится в Киеве, в Обер-коммандо, мы же числимся в категории Schutzhaft, т.-е. находящихся под стражей, а не подследственных.

Долго ломали мы себе головы над этими немецкими тонкостями, но никак раскусить их не могли. И, наконец, окончательно потеряв терпение, обратились в самое Обер-коммандо с решительным протестом против чинимого над нами произвола и с требованием немедленно освободить нас, или, если нас считают преступниками и в чем либо обвиняют, предать нас украинскому суду.

Ответ—формальный и по-немецки ясный—получили мы уже в лагере в июне месяце.

В течение же марта и апреля мы все ждали освобождения.

Немцы упорно поддерживали в нас надежду, что вот-вот, на этих днях нас освободят и вернут домой. И самим нам это сидение без допроса, без пред'явления обвинения, без перспективы суда и при отсутствии даже административного решения нашей судьбы, казалось бессмысленным и совершенно случайным. Ведь кроме нас четверых за это время ни одна политическая душа не являлась с Украины, чтобы разделить нашу участь. Следовательно, рассуждали мы, если политические аресты там и происходят, то они совершаются при участии украинских властей и ликвидируются в том или ином порядке на месте. Правда, среди нас был еще один политический, высланный в Бялу из Дубно одновременно с нами, некий Товстер. Но из бесед с ним мы очень скоро вывели заключение, что это не нашего поля ягода. Он был переводчиком при немецкой комендантуре, был человеком политически во всяком случае нейтральным, определенно случайным и обвинялся он, по его же словам, в агитации за взрывание мостов. Его вызывали на допросы к судье и как-никак дело о нем двигалось. Из равнодушного наше отношение к нему стало впоследствии определенно отрицательным, так как он вел себя далеко не согласно с нашими представлениями о достоинстве политических заключенных.

Каким-то чудом проскользнувшее через все немецкие цензуры письмо на имя т. Подгорного также чрезвычайно разожгло, даже у наиболее скептически настроенных, надежду на близкое избавление.

В этом письме рассказывалось, между прочим, о тех шагах, которые предпринимала наша дума, наши друзья и родственники в целях возвращения нас обратно.

Там была приведена даже выдержка из „Трудовой Волыни", где со слов немецких властей сообщалось, что сделано уже распоряжение о нашем освобождении, при чем власти, по словам этой заметки, об'ясняли наше отсутствие тем, что в приказе об освобождении упущено было указание на необходимость доставить нас обратно.

Немцы лгали, лгали без конца, пока это было необходимо, т.-е. пока им не удалось учинить на Украине гетманский переворот.

* * *

В момент самого пышного расцвета этих надежд, однажды утром—это было 5-го мая, в первый день Пасхи,—приходит к нам ключник Фик и торжественно сообщает:

— Сегодня вы пойдете к судье. Скоро домой поедете. Поздравляю.

В том же духе говорит нам о предстоящем и сержант.

О том, что совершился уже гетманский переворот, ни мы, ни наше ближайшее начальство еще не знали. „Bug Zeitung“ почему то об этом умалчивала, а может быть и говорила что-нибудь маловразумительное; берлинские же газеты, в которых сообщалось подробно об этом coup d'état, еще не получились. То же обстоятельство, что и Фик, и сержант, и заключенные немецкие солдаты истолковывали факт вызова к судье, как порог к освобождению, показывало, в какой мере и сами немцы считали наш арест делом ошибки и недоразумения. Повидимому, такого мнения был и судья, потому что он дал сержанту приказ привести нас к нему без обычного конвоя.

По городу нас повел солдат без винтовки, не столько конвоир, сколько провожатый. Он даже сам предложил нам идти по тротуару, а не по мостовой и выстроившись, как это бывало, когда нас водили в баню.

У судьи мы несколько минут ждем в прихожей. Входим затем в кабинет.

Два каких то господина в партикулярном платье сидят в креслах. Судья за столом.

Нас сесть не приглашают. От немцев мы и не ожидаем любезности.

Но два господина, с которыми судья чрезвычайно вежлив, при нашем появлении тоже не встают.

Табунком остановились мы перед ними и стали ждать, что будет.

Судья вызывает военного переводчика, чтобы быть в курсе нашей беседы с незнакомцами.

Один из них, поважнее, медленно цедя слова, сообщает нам:

— Я украинский комиссар.

При этих словах ряд воспоминаний возникает в моей голове. Прочитанное в „Bug Zeitung“ сообщение о назначении на Холмщину комиссаром с весьма урезанными правами пана Скоропись-Йолтуховского. „Союз освобождения Украины“. Разоблачения Иорданского и др. Политический шантаж и продажность.

Фигура этого «діяча» вызывает невольную брезгливость.

Мы молча переводим наши глаза на второго незнакомца. Это секретарь пана комиссара, как я понял из нескольких слов, сказанных им судье. Комиссар не свободно владеет немецким языком и пан секретарь служит ему переводчиком. Я встречал где-то это бритое лицо ксендза-развратника с тонкими бледными губами, массивным подбородком и глазками, поблескивающими блудливым огоньком. В кулуарах Центральной Рады, или на скамьях зоологических социалистов желто-блакитных колеров, а может быть, и на трибунах для публики.

Секретарь говорит с нами в начальственно-покровительственном тоне, по-украински.

— Кто из вас член Центральной Рады?— спрашивает он.

— Это я,—отвечаю ему я.

— От какой партии вы прошли?

— От меньшевиков.

На его лице появляется весьма неопределенное выражение и тон становится все более начальственным. Он расспрашивает остальных, кто и что они.

— За что вы арестованы?—обращается он ко всем нам.

Услышав от нас, что причины ареста нам не сообщены, что никакого обвинения до сих пор пред'явлено не было, что не было даже и подобия какого бы то ни было допроса, он выразил явное недоверие.

— С какою целью вы ведете с нами эту беседу?— задаем мы в свою очередь вопрос.

— Вы нас, повидимому, допрашиваете? Мы желали бы в таком случае, чтобы все нами заявляемое было запротоколировано.

Это ему, видно, не улыбается.

— Нет, нет,—говорит он.—Мы пришли сюда только в целях информации.

Разговор продолжается.

В целях „информации" ставится один вопрос за другим. Наши встречные вопросы содействуют выяснению картины форменного жандармского допроса.

Наш собеседник, оказывается, знаком с нашей историей больше, чем он хотел бы это показать. Он знает те негласные причины, по которым мы заточены в Бяле. Он проговорился далее, что видел какие то протоколы.

Мы расстаемся явно неудовлетворенные друг другом.

— Когда же нас выпустят?—спрашиваем мы.

— Через три дня все выяснится. Если вы действительно ни в чем не виновны, вас выпустят. В противном случае вам сообщат, за что и к какому наказанию вы присуждены.

— Через три дня?

— Не позже, как через три дня.

Не только через три дня, но и через три недели неопределенность нашего положения не рассеялась.

Господа, служившие Центральной Раде, а затем с легким сердцем перешедшие на службу к гетману, конечно, пальцем о палец не ударили для нашего освобождения. Сопоставляя слова и факты, мы пришли даже к убеждению, что наши собеседники „информацию" собирали не только для себя.

Это странное свидание в то же время очевидно было косвенным ответом на наше заявление в Обер-коммандо и оно с несомненностью доказало нам, что немецкими руками в деле нашего дальнейшего содержания в тюрьме двигала воля, окрашенная в цвета украинской народной республики.

Все таки, в тот момент надежда на эти „три дня" у нас еще была и мы довольно весело возвращались в тюрьму. Мы все, житомиряне, хорошо держались на этом

допросе, не сдали ни в чем. Сдал только наш пятый компаньон—Товстер. Он разревелся перед немцами и „украинской властью", как наказанный школьник, просил, чтобы его поскорее выпустили, потому что у него папаша и мамаша остались одни, и клялся и божился в том, что он ни в чем—ни вот-столько!—не виновен перед хорошими господами—немцами и украинцами.

В вопросе о нашей высылке эта беседа с секретарем комиссара многое выяснила. Как я сказал уже, он кое в чем проговорился. В частности, опрашивая нас поочередно, он обратился к тов. Гриншпуну, бывш. секретарю союза печатников, и спросил его, какое участие принимал он в деле организации забастовки рабочих типографии реакционной газеты „Волынь".

Эта забастовка, в сущности, лежала на ответственности всех нас. Я и Кимельблат резко выступали в городской думе, требуя обуздания милиции, пытавшейся вмешаться в этот скорее политический, чем экономический конфликт, мы вели кампанию против Бортникова, редактора этой газеты. На моей совести лежало, кроме того, два выступления с речами по поводу привода министерством Голубовича немцев на Украину. И вообще в городе и губернии мы пользовались значительным и, с немецкой точки зрения, отнюдь не благотворным влиянием, были „вредными людьми", как впоследствии квалифицировали нас немецкие власти.

На другой день, кажется, после прогулки к судье, из немецких и еврейских газет мы узнали подробности гетманского переворота. Последние остатки наших надежд на близкое освобождение разлетелись прахом.

* * *

Наша жизнь продолжала протекать в прежних границах, без вестей с родины, без развлечений. Нудная, монотонная жизнь!

И вдруг среди этой пустыни дней яркое новое впечатление.

— Кажется, это было 20 мая. Мы только что вернулись из кухни, неся с собою свои миски, наполненные брюк-

зенным отваром. Хотелось есть и в то же время вид этой мутной желтоватой жидкости внушал невольное отвращение.

Кто то из нас, не желая поглощать это немецкое пойло, отошел к окну и стал бесцельно смотреть во двор. Вдруг он крикнул:

— Новых ведут!

Один за другим в низенькую калитку пролезали люди и медленно, устремив взоры на наши окна, подвигались к крыльцу.

По одежде, по лицам их было видно, что это не „шмуглеры" (контрабандисты). В руках у некоторых был багаж. Запыленная обувь, измученный вид, усталая походка,—все говорило за то, что проделали они дальний путь, прежде чем добрались сюда.

Мой наметавшийся глаз среди несомненных неофитов, растерянно озиравшихся кругом, сразу уловил знакомые типичные черты русского интеллигента, бывалого тюремного воробья.

— Откуда, товарищи?

— Из Луцка. Из Кременца.

В воздухе перекрещивались наскоро брошенные вопросы и ответы.

Сопровождавший новоприбывших наш тюремный начальник-сержант беспокойно забегал, замахал руками, торопя их скорее заходить в тюрьму. А через несколько минут он был уже у нас.

— Господа,—начал он.—Я не ожидал...

Однако, мы не дали ему окончить, забросав его вопросами.

— Кто? Откуда? Почему? Как?

— С Украины. Не знаю... Не знаю. Не мое дело. Однако, вам нельзя сноситься с ними. Вы не имеете права переговариваться через окна. Я к вам хорошо отношусь, но если вы не будете подчиняться тюремным правилам, вам будут большие неприятности.

Это было сказано достаточно серьезно. Шейдемановский социалдемократ, очевидно, считал себя обязанным оправдать то высокое доверие, которое оказывало ему начальство, по-

ручая охрану столь серьезных политических преступников. Социализм, мол, социализмом, но пока что попридержим его в кармане, геноссен.

Понятное дело, что обещать—мы ему все обещали, но обстоятельства помешали нам это обещание сдержать. В тот же самый день мы имели ответы на все эти: кто, откуда, почему да как?

Пользуясь слабостью к нам надзирателя Фика и его легко об'яснимой склонностью оставлять, вопреки правилам, дверь нашей камеры открытой, мы использовали первую же прогулку новоприбывших, чтобы пригласить одного из них к нам в камеру.

Это делалось очень просто. Мы следили, когда надзиратели уходили со двора, убеждались,—нет ли кого нибудь в коридоре, сигнализировали затем на двор гуляющим и кто-нибудь из них заходил внутрь здания. Понятно, что затем один из нас стоял „на стреме," как говорится на тюремном жаргоне, т.-е. наблюдал, не появится ли на горизонте фигура ключника. При первом признаке опасности гость наш улетучивался в ретирад, а там уже с него взятки-гладки.

Состав новой группы бяльских узников был самый пестрый. Тут были и офицеры украинской армии—вся Кременецкая комендантура, вся земельная уездная управа из Луцка, общественные и партийные деятели. Все были высланы под предлогом их противодействия гетманскому перевороту. Некоторых обвиняли в подготовке восстания против гетмана и немцев, но никаких улик против них не имелось. Среди них был даже мальчик, служивший в земельной управе писцом, вся вина которого состояла в том, что он на какой-то бумаге, раз'ясняющей крестьянам переворот, надписал: „З оригіналом згідно" (с подлинным верно)—и росписался.

II

В ЛАГЕРЕ. ЖИЗНЬ В ПЯТОМ БАРАКЕ.

О том, что всех нас—и стариков, и новичков—отправляют в лагерь, мы узнали еще накануне. Первым сообщил

нам об этом тюремный переводчик Дмитрий, военно-пленный, бежавший из лагеря, потом пойманный и отбывавший в тюрьме наказание, а в наше время, уже по окончании срока отсидки, оставленный при тюрьме на положении полуоффициального лица за приобретенное им в плену некоторое знание немецкого языка. Он только не знал, отправляют ли нас в Бяльский лагерь, или куда-нибудь в другое место. Надзиратели тоже поторопились обрадовать нас этой новостью и даже уверяли, что нас угонят на родину для суда.

25-го мая утром нам предложили собрать свои вещи и к 12-ти часам быть готовыми к походу. И действительно, ровно в 12 часов, несмотря на дождь, мы были уже на дворе.

Присланный за нами караул оказался почетным—с офицером во главе. Честь эта оказывалась не нам, простым смертным, разумеется, а тем трем офицерам, которые были в нашей среде. Может быть, если бы немцы знали, что они прапорщики и только один из них подпоручик, они не стали бы беспокоиться. Но прошло очень много времени, пока они разобрались в том, что в опереточной украинской армии чины не выслуживались, а присваивались. И именовавший себя полковником и имевший соответственные знаки на петлицах начальник комендантуры гор. Кременца г. Лисунов мог представить доказательства только того, что он в российской армии был произведен во время войны в подпоручики, а г.г. У и Z дальше прапорщиков шагнуть не успели, но по петличкам их должны были именовать капитанами.

Нас построили рядами и вывели на середину улицы. К нашим же кавалерам со звездными петлицами немецкий офицер манерно, с приложением руки к козырьку, обратился со следующими словами:

— Herr Oberst! Herr Hauptmann! Herr Hauptmann!*) Вы не должны идти с простыми людьми. Пожалуйте со мной,— и, пропустив их вперед, он пошел с ними по тротуару, в стороне от нашего стада, месившего грязь дороги.

---

*) Г-н полковник! Г-н капитан! Г-н капитан!

Мы уже давно раскусили, что за птицы были этот полковник и эти капитаны. Нас поэтому не удивило то, что они не только не отказались от предложенной им высокой чести, но даже приняли ее, как должное. Впоследствии эти господа доставили нам не мало неприятностей своим поведением. Но об этом в свое время.

* * *

Идти нам пришлось не очень долго. Лагерь расположен всего верстах в двух от города.

Огромная площадь с возведенными на ней разного рода и типа постройками. Тут и казармы, и деревянные бараки, служившие в русские времена сараями, складами, цейхгаузами и т. д. Тут и легкие бараки, которые немцы в разобранном виде всюду таскали с собою в огромном количестве. Во все стороны разбегается бесконечный лабиринт высоких, сложно и густо заплетенных проволочных изгородей. На всех углах маячат серые фигуры в остроконечных касках. А в сторонке видно громадное кладбище с маленькими могильными холмиками.

Тягостное чувство невольно охватывает душу, когда приближаешься к этой гигантской прозрачной тюрьме.

Кругом синеют леса. Серой лентой убегает вдаль шоссе. Зеленью и золотом хлебов красуются нивы... А среди этого раздолья отвратительная плешина неволи и рабства.

Нас ведут к зданию лагерной комендантуры.

Группа сестер милосердия, выходящая из лагеря, внимательно разглядывает нас. В свою очередь и в нас они вызывают любопытство. Их ухватки и внешность поражают. Это не русские сестры, которые тоже в массе своей не очень высоко стояли в эту последнюю войну. Это и не немецкие сестры: те ухаживают только за немецкими воинами. Это приспособленные немцами местные обывательницы. И не только приспособленные, но и развращенные ими. Одно-два исключения были, но эти исключения только с особенной силой подчеркивали поразительно низкий нравственный уровень огромного большинства их.

Изумление нарисовано и на лицах пленных, попадающихся на-встречу. Жалкие, изголодавшиеся фигуры. Черная однообразная одежда с арестантскими нашивками на рукаве и на брюках. Белая нашивка на груди с номерами.

Из комендантуры лагеря для военно-пленных нас ведут в отдельный лагерь для возвращающихся беженцев—„рюквандерер-лагер".

— Барак № 5,—все чаще и чаще раздается в наших ушах.

Мы стоим и ждем возле канцелярии этого лагеря. Кучка беженцев окружает нас с распросами. Мы распрашиваем их в свою очередь.

— В 5-м бараке уже есть ваши—Центральная Рада и сам Петлюра.

Наше недоумение скоро разрешается. Через маленькую калиточку, проделанную в проволочной колючей сетке, входим во дворик 5-го барака и там встречаем компанию ровенчан: Ф. А. Сумневича, Ровенского уездного комиссара, впоследствии комиссара Директории на Волыни, М. Г. Черановского, члена Центр. Рады, старого революционера, отдававшего в то время долг националистическому движению, но уже заметно порывавшего с его крайностями, Денисенко, Коваленко и др. Петлюры среди них не оказалось.

Нас выстроили среди двора и устроили перекличку. Затем комендант лагеря, лейтенант-фельдфебель по чину (нечто в роде нашего подпрапорщика), здоровенный детина с красной рожей, рыжими усами á la Вильгельм и глазами на-выкат, через переводчика немца держал нам краткую речь.

— Ви дольшни карашо поводитися.

Внушительный жест на проволоку и на часовых:

— Попробуйте, мол...

Из малопонятной немецкой речи (комендант говорил на одном из немецких диалектов) и из еще менее понятного перевода оффициального переводчика, мы все-таки уразумели, что кое-чего делать нельзя, а кое-что можно, что если будем сидеть в бараке спокойно, не будем переговариваться с военно-пленными и с беженцами, не будем устраивать побегов, за которые тут не милуют, то благо нам будет и долговечны будем мы на земле.

Приняли мы все это к сведению, поблагодарили переводчика за его чрезмерную любезность и принялись осматривать свое новое помещение.

* * *

„Барак номер пятый“ был, в сущности, огромным сараем. В прежние времена он был каким-то складом. Об этом говорили и маленькие оконца под самым потолком, и чрезмерная высота его, и крытый балкон по всему фасаду с покатым в'ездом на него и, наконец, двое широких, заделанных в наше время ворот. У немцев он был некоторое время больничным бараком, как свидетельствовало сохранившееся до нашего приезда драконовское расписание на немецком языке, подробно регламентировавшее поведение больных. Потому то он побелен и к нему пристроены ретирады. Две маленькие, грубо сложенные печки должны были согревать эту махину. Но опыт убедил нас в том, что только огромное количество человеческих тел могло позволить печкам исполнить их предназначение. Пока же нас было там мало, от холода нас не гарантировали ни печки, ни присутствие на дворе весны и начала лета.

Двери барака никогда не закрывались, но на дворик выходить разрешалось только до десяти часов вечера.

Дворик окружал наш барак с трех сторон, с четвертой же стороны его ограничивала колючая проволока, прикрепленная к самой стене барака. Сначала наш двор был обнесен всего одним рядом проволоки, но через несколько дней после нашего прибытия его стали заплетать вторым забором. В порядке трудовой повинности на эту работу были согнаны обыватели Бялы и их неумелыми, исцарапанными руками, но под умелым и сердитым руководством какого-то немца-техника было заплетено высоченное колючее кружево. Те проволочные сооружения, которые мне приходилось видеть на родине и до немецкого пленения и после него, не дают ни малейшего представления о том, какое искусство можно проявить в этом, казалось бы, нехитром деле. Еще более сложные заплетения в два ряда с внутренними горизонтальными проплетениями между рядами видел я в Брест-

Литовской крепости. Днем и ночью между этими двумя заборами, защищенный и извне и изнутри, расхаживал часовой, охраняя нас и наблюдая за нами. У деревянной калиточки, заплетенной колючками, также стоял часовой.

Вообще видно было, что устраивают нас надолго. Чтобы нам не приходилось ходить на соседний беженецкий двор за водою, для нас пробуравили тут же, среди фронтового двора, артезианский колодец. Провели электричество.

В бараке имелись две маленьких комнатушки, отделенные от общего помещения тонкой перегородкой. В этих комнатках разместились прибывшие с нами офицеры и ровенские товарищи. Вся же остальная братия устроилась в общей камере.

О каких-либо удобствах, конечно, говорить не приходилось: устроились совсем по-походному. Нам выдали старые, видавшие виды одеяла, которые хотя и прошли через очистительный пар,—так по крайней мере сообщили нам принесшие их немцы,—но при ближайшем знакомстве с ними оказались в весьма солидной мере вшивыми. Принесли также в барак и несколько тюков „деревянной шерсти". Правда, не было в бараке осточертевших покатых нар. Но те орудия пытки, которые призваны были их заменить, в сущности мало от них отличались.

Представьте себе два грубо сколоченных деревянных ящика с ножками. Эти ящики поставлены один над другим так, что если вы сядете в нижний, то головой будете касаться верхнего. В ящики накладывали деревянные стружки, весьма быстро стиравшиеся и превращавшиеся в пыль. Пыль сыпалась сквозь щели между досками вниз, и если жребий судил вам лежать внизу, то каждое движение вашего верхнего соседа награждало вас дождем деревянной пыли. Но и счастливец наверху отнюдь не чувствовал себя небожителем. Одно уже влезание наверх требовало чрезвычайных усилий и не малой ловкости. Не раз бывали у меня ссадины на ногах от этих упражнений, а случалось, что и заноза долго не давала чувствовать себя нормально в сидячем положении.

В сущности, все это были мелочи. По сравнению с тюрьмой лагерная жизнь представляла много преимуществ.

Прежде всего от света белого и от горизонта широкого вас не отделяла грубая оконная решетка. Изящные сплетения колючей проволоки не так остро напоминали о неволе. Зрительные перспективы были почти неограничены. Свобода передвижения по двору и уверенность, что не раздастся вот-вот грубый окрик: Herein! (заходи)—давали некоторую иллюзию свободы. Никто не заставлял вас здесь ходить непременно по дорожке. Вы не были, как в тюрьме, лишены права сесть, когда уставали или расположиться на травке и с книжкой в руках принимать солнечные ванны. Могли входить в помещение и выходить из него, когда вам заблагорассудится. Курить внутри барака, правда, запрещалось, об этом говорила сакраментальная надпись на стене: „Rauchen strengst verboten". Но никто не следил за этим, да и самый табак не был под запретом.

Пища... На счет пищи у немцев, как известно, вообще слабовато было. Первое время, пока немцы еще считали нас „пленными" высшей категории и не дошли до сознания, что мы по-просту „банда", с которой считаться особенно не приходится, нас кормили из котла пленных офицеров, т.-е. так же, как тех польских легионеров, которых в описываемое время было очень много в бяльском лагере. Моржевое мясо, жесткое и на вкус противное, давалось сравнительно редко. Картошка перед варкой вымывалась и кожица с нее счищалась. Кроме единственного блюда в обед, на ужин иногда давали прибавление в виде куска с'едобной колбасы или ложки „мармелада" (так немцы называют повидло, изготовленное из всяких фруктовых и овощных отбросов), или испорченных соленых огурцов, или червивого сыра. Иногда эти деликатессы заменялись маргарином. Хлеба тоже давали немного больше, чем в тюрьме. По утрам давали какой-то напиток, носивший громкое название чая и весьма отчетливо испускавший запах прелых портянок.

Такова была внешняя обстановка бяльского лагеря в первое время нашего пребывания там.

* * *

Хорошо было в лагере после тюрьмы! Душа отдыхала, отдыхало тело. Было самое начало лета и природа улыба-

лась нам и ярким солнцем, и звездным небом, молниями гроз и ароматами лесов и полей.

Правда, нас не покидало то ощущение, которое, должно быть, свойственно диким зверям в зоологическом саду. Как будто и свобода есть, но в то же время эта свобода так страшно ограничена, а враг-мучитель вечно наблюдает, всегда тут и никуда не уйдешь от него. И это ощущение, не столь острое в первые дни, скоро усилилось до нестерпимости и, про себя я могу это во всяком случае сказать, становилось жаль покинутой тюремной определенности, запертых дверей, прогулки без присеста в течение положенных минут и неподвижного, непоколебимого силуэта решетки, отделяющей тебя от внешнего мира.

В бараке у нас был простор. Места было так много, что мы даже отделили около шестой части всей площади пола под столовую, которая в то же время служила залом для собраний, читальней и комнатой для занятий. Наши койки-катафалки стояли у стен и мы все вместе могли в ненастные дни делать моцион, не мешая друг другу и не сталкиваясь на этом бульваре длиною до пятидесяти аршин. Бегали, играли в чехарду и хвалили немцев за то, что они столь любезно предоставили нам для летнего отдыха такую огромную дачу.

Но постепенно пятый барак стал наполняться. Со всех концов Украины и даже Белоруссии везли сюда людей неугодных немцам. Как и во времена административной ссылки в России, это большею частью были люди, которых не за что было судить, потому что они не совершили никаких заметных и поддающихся квалификации преступлений, но убрать которых с дороги признавалось полезным.

И кого здесь только не было! И интеллигенты высокой марки, и темные обитатели самых глухих углов Волыни или Полесья. Лица, занимавшие административные посты, общественные и политические деятели, лица свободных профессий и военные, рабочие и крестьяне.

Вскоре после нашего переселения в лагерь стали прибывать большие партии преимущественно крестьян. Одна за другой образовывались новые „коммуны“, как у нас назы-

вали естественные в такой разнородной среде экономические об'единения по признаку землячества. Коммуны Житомирская, Ровенская, Луцкая (вскоре распавшаяся вследствие неоднородности своего состава в политическом отношении и вследствие имущественного неравенства), Черниговская, Харьковская—были самыми влиятельными, если не самыми крупными. Это были ячейки, из которых складывалась наша организация, своего рода партии в общем парламенте.

Часто, бывало, наблюдаешь, как в том или другом уголке, сгруппировавшись возле чьей нибудь двух-ярусной койки, облепив ее сверху, снизу и с боков, кучка коммунаров шопотом обсуждает свой бюджет, выбирает старосту или подготовляется к общему собранию, вырабатывая свою групповую позицию по стоящим в повестке вопросам.

Общие собрания собирались у нас довольно часто и по самым различным поводам.

Товариші! На збори! Не гайтеся!—раздается зычный голос нашего бессменного барачного старосты, Ф. А. Сумневича, украинского эс-эра в то время, присяжного поверенного до войны, затем офицера, а в период революции заметного украинского деятеля на Волынском горизонте.

Главным вопросом на этих „зборах", как это всегда бывает у политических арестантов и ссыльных, бывал вопрос организационный. Борьба за смягчение режима, за улучшение пищи, выставление перед начальством тех или иных требований, все это понуждало к организации, к согласованному действию. Барачный староста, по нашей конституции, был своего рода президентом. Им была подписана эта конституция, весьма сложная, к слову сказать; он вел постоянно за всех нас переговоры с лейтенантом, а при нужде и с гауптманом и судьей, пользуясь услугами Товстера, с большим удовольствием и апломбом, хотя и не всегда с успехом, игравшего роль переводчика при этих переговорах. От старосты зависело и хождение в город, он устанавливал очередь на прогулки за пределы лагеря, пока это право не было от нас отобрано по причинам, о которых я расскажу дальше. Даже вопрос жизни и смерти для уз-

ника—побег подлежал его компетенции. Всякий, собиравшийся бежать, согласно нашей конституции, был обязан сообщить об этом старосте, и если бы староста нашел, что из этого для всего коллектива проистекут сугубо вредные последствия, он имел право наложить „вето". Для хотевшего бежать в таком случае оставался другой выход—перевестись в больницу, откуда совершить побег было даже легче, чем из пятого барака.

Конечно, организационные и продовольственные вопросы не исчерпывали еще всего круга интересов нашего коллектива.

У нас делалось много попыток вести культурно-просветительную работу. Был образован ряд кружков для изучения политической экономии, кооперации, украинского и немецкого языков и т. д. Были кружки для обучения грамоте, арифметике и т. п. Правда, не все кружки работали интенсивно, некоторые из начинаний культурно-просветительной комиссии с самого начала оказались мертворожденными вследствие равнодушия и апатии просвещаемых, но в общем и целом работа все же велась не бесплодно.

С особым успехом шло дело снабжения нас книгами. Все книги частновладельческие были временно социализированы и собраны в одно место. Это было основное ядро, фонд нашей библиотеки. Кроме того, нам удавалось получать в большом количестве книги из Бяльской украинской колонии (громады) и из библиотеки при Бяльской бундовской организации, существовавшей, полулегально в виде литературно-драматического кружка и оказывавшей нам серьезную товарищескую поддержку.

Конечно, внутренняя жизнь наша не протекала совершенно гладко, без сучка и задоринки.

Это вещь невозможная там, где люди самые различные вынуждены вариться в собственном соку. Надо принять к тому же еще во внимание, что немцы гнали в Бялу не только политических врагов своих и врагов поддерживаемой ими гетманской реакции, но и людей, никакого касательства к политике не имевших и, в смысле обычной среди политических всех эпох и стран солидарности, весьма слабых.

Мало того, среди нас оказалось не малое количество и уголовных, самых доподлинных уголовных. Эти элементы разлагали крестьян, вырывали их из-под культурного влияния политически сознательных элементов, вызывали разлад и ссоры в самой крестьянской среде. Атмосфера вражды и подозрительности распространилась и на „интеллигенцию".

В результате этого группа лиц обратилась даже к коменданту с просьбой изолировать их от „черни" и поселить отдельно.

В то же самое время среди нас наметился и раскол по другой плоскости. Слухи о предстоящем, яко бы, суде над нами, исходившие из такого осведомленного относительно немецких планов и намерений источника, как украинский комиссариат, побудили нас с'организовать тех, которые на этом суде будут не оправдываться, а обвинять и открыто признают себя социалистами и непримиримыми врагами немецкой и гетманской реакции.

Это были бурные дни! Сначала мы клеймили и исключали из коллектива верноподданнейших лакеев гетмана и фельдфебель-лейтенанта. Затем мы отмежевывались от тех, которые на предстоящем суде не согласны будут занять позицию, достойную революционеров и социалистов. В нашу группу вошло всего 25 человек из общей массы, которая к тому времени еще не превышала двухсот человек. При этом нужно заметить, что деление это совершилось исключительно по грани партийности. Среди нас были и интеллигенты, и рабочие, и крестьяне. Среди тех, которые желали идти на немецкий суд с оправданиями, с отрицанием своей прикосновенности к революции, также были, и в немалом относительно числе, интеллигенты, но, понятно, уголовщина и бессознательные полещуки и волыняки там преобладали.

Это внутреннее расслоение отозвалось и на нашем внешнем положении.

Уже одно наполнение барака явно уголовными типами заставило немцев, всегда не только встречающих, но и провожающих по платью переменить свое отношение к нам. Это прежде всего сказалось на пище. В один прекрасный

день нам стали выдавать пищу не из „офицерского“ котла, а из котла военно-пленных солдат. А несколько дней спустя, нас перевели на паек штрафованных.

То была пища, которою кормили самую несчастную категорию пленных: делавших побеги, нарушавших дисциплину, совершавших кражи, словом, людей, обреченных жить на режиме каторжных тюрем. А немецкий каторжный режим—нечто совершенно не поддающееся описанию. И естественно, пища, которую получали эти несчастные, была самой гнусной из всех возможных родов пищи. Протестовать мы не могли сколько нибудь решительным образом: слишком уж неоднороден был наш состав и дух протеста жил в очень немногих. Мы ограничивались вызовами этапного судьи и словесными протестами, которые у этого негодяя не вызывали ничего, кроме насмешки и ясно выраженного удовольствия при возможности лишний раз подчеркнуть наше зависимое положение.

Ни посылок, ни денег с родины почти не получалось. Огромное большинство немецких комендантур отказывалось принимать для ссыльных деньги и посылки, заявляя, что „фельдпост“ (полевая почта) существует лишь для немецких надобностей. А иных почтовых сношений между Украиной и оккупированной зоной не существовало.

Ссыльные в огромном большинстве положительно голодали. Распродавали немцам все, что было только можно. Мы в нашей группе „сознательных“ политических ввели обложение имущих с суровым контролем всех трат, которые делались как отдельными лицами, так и коммунами. Обложение было проведено по принципу прогрессивно-п о р а с х о д н о г о налога.

* * *

Вследствие уже упомянутых мною настояний „офицерской“ группы, как мы называли ту кампанию, которая сочла для себя выгодным писать всеподданнейшие послания не только „ясновельможному пану гетману“, но также нашему фельдфебель-лейтенанту, и которая, кстати сказать, состояла не из одних офицеров и не из всех наших офицеров,

начальство решило отделить „bessere Leute“ (лучших людей как любили выражаться немцы. С этою целью в том же самом загороженном пространстве, где находился пятый барак, сбоку, был поставлен разборный небольшой барак.

В этом бараке было три комнаты. Одну из комнат с отдельным ходом и не сообщавшуюся с большей половиной постройки, отделили для этой компании, остальные же две были отданы нам и самой маленькой из всех групп—группе беспартийной интеллигенции. В связи с этой перегруппировкой выделилась и группа украинских социалистов, оставшаяся в своем большинстве в пятом бараке и занимавшая там две маленьких изолированных комнаты. Это последнее выделение было, впрочем, естественным и ничьих протестов не вызвало.

Кстати здесь будет сказать несколько слов о национальном вопросе в нашем лагере. Еще когда мы шли из тюрьмы в лагерь и по дороге узнали, что нам придется жить вместе с „Центральной Радой“, нам пришлось на-спех поставить вопрос о том, какую позицию займем мы по отношению к украинским националистам. Без долгих прений было решено: будем жить мирно, поскольку украинцы будут солидарны с нами в борьбе с немецким „прижимом“. Такое же решение было, повидимому, принято и той группой украинских социалистов, которую мы застали в пятом бараке. И мы, и они, в сущности, шли на уступки. Уступкой с нашей стороны, несомненно, было то, что мы не продолжали здесь, в лагере, ожесточенной идейной борьбы с реакционно-шовинистическими устремлениями украинских социалистов, с „самостийничеством“ их, с той политической и национальной нетерпимостью, которая еще так недавно заставляла нас в общественной борьбе, на политической арене трактовать их как злейших своих врагов. Мы исключали из нашего лагерного обихода все то, что способно было разрушить внешнюю солидарность, ослабить наш общий фронт перед непосредственным и в данный момент, пожалуй, единственным врагом—немецко-гетманскими тюремщиками. Конечно, не все оружие из нашего арсенала было припрятано до иного времени и порою разгорались

довольно ожесточенные споры перед аудиторией из крестьянской, в большинстве, массы, но я не помню ни одного случая, когда эти споры выходили бы за рамки дозволенного парламентской этикой. Со стороны украинских националистов уступкой, и не малой уступкой, было то, что часто, без всякого видимого проявления неудовольствия, они говорили на общих собраниях по-русски, молчаливо признавая этот язык господствующим. Вообще же говоря, в пятом бараке у нас царила свобода, и равноправие языков было полное.

Для характеристики состава заключенных я должен здесь отметить, что даже крестьяне, собранные из разных местностей Украины, за крайне редкими исключениями, резко отмежевывались от того „украинства", которое в тот период считалось монопольно принадлежавшим господам из блакитно-желтого стана. На почве этого отрицательного и даже враждебного отношения к украинским „политикам" получались не малые курьезы.

Однажды, я помню, старый сивый дядько, слабый в политике, но сильный своим непосредственным разумением творившегося на Украине, энергично запротестовал против произнесения речей по-украински.

— Да вы-ж, дяденька, украинец сами. Ведь они же по вашему говорят, чтоб вам же было понятно,—попытался я урезонить старого скандалиста.

— Тю!—обозлился он.—Ніколи не був я українцем, та й не буду. Хай вони поздихають усі з тою їх Україною та з німцями. І дурний я був, коли слухав їх й квитки за них кидав. Але ж тепер годі. Хай мовчать, або балакають по нашому, як усі, що розумніші за них.

И никак не мог я втемяшить старому упрямцу, что он такой же украинец, как и ненавистные ему „самостийники", и что разница между ним и ими не в языке, а в политических взглядах.

Свою беседу со мною он закончил таким нравоучением:

— А ви на їх бік не ставайте. Бо вони й вас продадуть, як нас продали.

„Вы“ и „мы“, деление на разные, хотя и не враждебные, но все же чуждые группы, упорно и непреодолимо существовало между крестьянской массой и нами, интеллигентами и рабочими, занимавшими партийные позиции и потому высказывавшими непонятные по своей отточенности и резкости взгляды. Более сознательные крестьяне, примыкавшие к нашей группе, неизбежно откалывались от этой стихийно и невыдержанно революционной массы, теряли ее непосредственное доверие, отрывались и отчуждались. Непонятно в нас было для них многое: и язык, и употребление зубного порошка, и способность говорить с немцами как равные с равными, порой по-немецки без переводчика, и открытые позиции в вопросе о предстоящем суде, к которому, повторяю, мы серьезно и публично готовились.

* * *

В описываемое время нас еще выпускали за пределы лагеря. С большим трудом, после долгих переговоров с комендантом, получили мы это право. Как к празднику готовились мы к этим выходам из проволочной тюрьмы, когда подходил наш выходной день. И чинно, как стайка благовоспитанных девиц из какого-нибудь пансиона, в сопровождении серой солдатской фигуры, шли мы сначала по шоссе, а потом проселочными дорогами. Нас сравнительно мало интересовали пейзажи Холмщины: они ничем не отличались от покинутых нами полей Волыни и Киевщины. Деревни и люди притягивали нас к себе.

Спорный край, граница двух культур, поле борьбы между католицизмом и православием.

Мы пытались говорить с запуганными и забитыми крестьянами. Но из этих попыток почти ничего не выходило. Вид суровой фигуры нашего конвоира замораживал всякие проявления откровенности и готовое порой сорваться с языка слово жалобы на притеснение, на насилие оставалось несказанным. Но мы видели сожженные, сравненные с землей хаты тех, кто не сумел или не захотел покориться победителям, кто бросил насиженное гнездо, чтобы предпочесть ужасы беженства иноземному рабству. И нам удалось уста-

новить, что это были хаты преимущественно православных крестьян. Крестьяне-католики претерпевали сравнительно меньше. Но и их положение здесь, в оккупированной зоне, было ужасным. Их выселяли безжалостно из хат, чтобы расселить немецких солдат; почти не видно было коров и лошадей, мелкого скота и домашней птицы: все забрали и с'ели немцы. А то, что оставалось—было взято на учет и обложено всякого рода натуральными повинностями и налогами.

Эти прогулки наши скоро прервались. Один из членов офицерской группы, Лисунов,—„полковник" новейшей формации, между прочим,—вопреки общему и единогласному постановлению не совершать побегов с прогулки, все таки бежал, воспользовавшись доверием часового к его высокому чину. Благодаря тому, что его скоро поймали, особых репрессий к нам не применили, но за пределы лагеря пускать перестали. Даже в город за покупками удавалось выбираться крайне редко и то с особым надзором, а вследствие этого почти прервались наши связи с внешним миром.

* * *

Большой барак, между тем, переполнялся все более и более. Где-то в других частях лагеря для высланцев с Украины были отведены еще бараки. Но и это не помогало. Одна партия за другой вливались за проволочные заграждения и к концу июня немецкие власти увидели себя вынужденными начать разгрузку.

С этого момента Бяльский лагерь все больше приобретает характер распределительного пункта. Свозившиеся сюда ссыльные по каким то никому, да, вероятно, и самим немцам, не понятным признакам сортировались и отправлялись затем в лагери и рабочие команды в Брест-Литовске, в Кобрине, в Пружанах, в Ягловичах и в разных других местах оккупированной зоны, а немногие и дальше куда-то в Германию. Так, еще до нашего перевода в лагерь был отправлен в один из лагерей Вост. Пруссии Шхианд из Дубно; в том же направлении была послана после недолгого пребывания у нас группа сестер милосердия и фельдшеров, о которой я расскажу ниже.

* * *

К середине лета устанавливается более или менее прочная связь с родиной в виде нелегально получаемых писем и газет—украинских и русских. Эта связь весьма благотворно подействовала на наше настроение, сильно подбодрила нас.

Надо вспомнить только, с какой гнусной и подлой небрежностью относились власти к тем письмам, которые посылались нами через полевую почту и которые сдавались на родине для нас в этапные комендантуры. Смело можно сказать, что на родину от нас доходило два процента посылаемых писем, в большинстве написанных к тому же по-немецки, а мы вряд ли получали и один процент. Просматривая впоследствии, по выходе из этого пленения, письма, полученные от меня моей женой, я убедился, что дошло лишь два или три письма, в которых я совершенно случайно, не выразил даже слабым намеком недовольства своим положением и в которых чуткому уху цензоров не послышалось и нотки естественного в наших условиях протеста. В одном из своих нелегальных писем, вспоминая свои былые тюрьмы и сравнивая их с немецкой, я писал: „царские жандармы и тюремщики были куда человечнее в отношении допущения связи заключенных со своими родными и близкими". Эти слова, сказанные в момент острого возмущения и гнева, я повторяю и сейчас совершенно спокойно и обдуманно. Ведь мы, житомиряне, были некоторым исключением из всей огромной массы высланцев. Житомирская комендантура и та Postüberwachungsstelle (почтовая цензура), которая накладывала свое „Geprüft" (просмотрено), на некоторые из наших писем, все таки принципиально считали нас и наших близких в праве поддерживать сношения друг с другом. Все же остальные комендантуры, почти без исключений, этого права не признавали и, как я уже говорил, огромное большинство наших товарищей по тюрьме и ссылке в течение многих месяцев были абсолютно отрезаны от родины.

Освобождение т. Подгорного, происшедшее в первых числах июня, открыло нам первую нелегальную возможность

связаться с внешним миром. Помимо того, что он взял с собою письма от нас, мы дали ему задание так обработать своего конвоира, чтобы он, возвратясь из поездки, привез нам обратную почту и в дальнейшем был бы всегда готов для услуг подобного рода. Подгорный блестяще выполнил эту задачу. Мы условились с ним, кроме того, о ряде других возможностей пересылки нам газет и писем.

* * *

Наша маленькая житомирская коммуна недолго горевала об утере своего самого молодого члена. В 20-х числах июня на смену ему прибыл Б. И. Вучетич, социал-демократ, высланный в Бялу после шестинедельного пребывания в Житомирской тюрьме за речь, произнесенную во время первомайской манифестации. Вучетич прибыл к нам с приговором: шесть месяцев высылки из пределов Украины. Конечно, это был приговор, вынесенный неизвестно кем и как, не оформленный официальной бумагой, выданной на руки осужденному, но все же это был приговор, т.-е. нечто определенное, обязывавшее до некоторой степени приговаривавших в момент его истечения освободить преступника или продлить срок вновь на определенное время.

Мы смотрели на Вучетича по этим соображениям, как на счастливца. Мы еще не были научены в то время опытом, что немцы так же мало считали себя обязанными исполнять свои постановления в отношении к тем из ссыльных, которым они по какому нибудь капризу припаяли какой-нибудь срок ссылки, как и выносить какие-нибудь постановления вообще. Ярким примером этому был встреченный нами в Брест-Литовской крепости пожилой адвокат Корндорф из Клинцов, тоже социал-демократ, впоследствии коммунист, который, помотавшись по разным рабочим командам, к моменту окончания своего срока нашел тихую пристань в Брестском лагере и дождался там вместе со всеми нами немецкой революции, освободившей его через полтора или два месяца по истечении положенного приговором срока.

Немцы чувствовали всю неестественность держания людей в таком неопределенном состоянии и уже в июне,

помнится, начали оффициально сообщать своим узникам свои вердикты.

Явился однажды к нам в лагерь этапный судья со своим секретарем и переводчиком и, вызвав несколько человек, без дальних комментариев об'явил им:

— Немецкая власть постановила оставить вас здесь, как вредный элемент, до тех пор, пока мы занимаем Украину.

Это уже звучало несколько определеннее, чем полное молчание, но и эта удобная формула, очевидно, показалась начальству не вполне удовлетворительной, так как у немцев стало складываться убеждение, что их царствию на Украине несть конца. Нельзя все таки держать людей до бесконечности и не утешать их время от времени надеждой на окончание испытания.

Обер-коммандо распорядилась, чтобы Inspection—Bu через каждые два месяца пересматривала дела заключенных и ставила их в известность о решении. И нам стали сообщать через каждые два месяца стереотипное и неизменное:

„По постановлению Инспекции—Буг вы лишаетесь свободы на далее".

„На далее" по об'яснению переводчика значило „на два месяца".

Я говорил в своем месте о том резком протесте против неопределенности нашего положения, который мы отправили из тюрьмы в Киев Главному Командованию. Через много недель мы получили тоже своеобразный приговор. Он буквально гласил:

„За деятельность, направленную против германских интересов, на дальнейшее время должны находиться под особым наблюдением". Словами „под особым наблюдением" я передаю характерное немецкое „Sicherheitshaft".

В соответствии с этим приговором мы, житомиряне, и ряд еще других товарищей были в лагерных списках отнесены в группу „украинцев, относительно которых приказано содержать интернированными в лагере".

Остальные, не имевшие столь точной квалификации своего положения, смотрели на нас с завистью, как на привиллегированных в своем роде. Мы тоже с чувством

некоторой гордости поглядывали на них, на „шпану“ нашего лагеря. Ибо фельдфебель нам об'явил, что мы, как „украинцы, относительно которых“ и т. д., не подлежим никакому передвижению и перемещению ни в другой лагерь, ни в рабочую команду. Кстати, об этих передвижениях. Они происходили весьма часто и служили нам немалым развлечением.

Набьют, бывало, новыми партиями из Украины пятый барак до того, что яблоку упасть в нем негде, до того, что спали в нем люди уже и под койками, на полу, и в ретирадной пристройке, и на веранде, и под верандой,—и наше начальство начинало глубокомысленно расчитывать, сколько из этой массы народа надо спровадить в другое место, а сколько можно оставить для приплода.

Такой критический момент в жизни барака ознаменовывался всегда более частым появлением начальства всех родов в ограде барака и возле него, у проволочных заборов. На горизонте показывался и сам главный лагерный комендант капитан Гофман и подолгу рассматривал ту людскую толчею, какую представлял из себя наш лагерный дворик.

Затем начинались переклички.

Немцы с палками в руках входили в барак и изо всех углов с руганью и криками, пинками и ударами выгоняли на двор обитателей его.

И смешно бывало и гнев разбирал. Не способные к индивидуальному протесту, к отпору, как стадо ошалевших баранов, с испугом, покорностью и растерянностью, написанными на лицах, вылезали наши селяне из барака, толкая друг друга и скатываясь с высокой лесенки. Кто вшей искал в момент нашествия иноплеменых, тот так и выметался во двор с грязной рубахой или портами в руках, стараясь на ходу прикрыть исхудалое несчастное тело. Картежники норовили докончить на дворе прерванный „банчок“, „по-рассейски“ честя нарушителей их священного права спустить в „очко“ на десять дней вперед жалкую порцию хлеба. С воплями, потирая ушибленные немцами места, выбегали те, кто мирно спал в каком-нибудь укромном уголке и во время не услышал грозного: „Heraus!“ (выходи!) Находились

и озорники, которые умышленно злили немцев, прячась от них, перебегая с одного конца барака на другой, выскакивая в главные двери и вновь вбегая в барак с заднего хода.

Наконец, все во дворе и нехотя лениво строются.

Фельдфебель начинает перекличку. Русские и украинские имена и фамилии переделаны в списках на немецкий лад. Запинаясь и перевирая выкрикивает он их. Какой нибудь Долженко в его устах оказывается Duschenka и мы недоумеваем, кто из нас стал „душенькой" фельдфебеля. Когда же, наконец, какой-нибудь остроумец принимает на себя эту честь и выходит из рядов, чтобы перейти в другую шеренгу, уже вызванных, происходит разговор такого рода:

Переводчик: Душенка?

Вызванный: Нет, я Данченко.

Переводчик: (фельдфебелю по немецки): Он называет себя не Душенка, а Дашенка.

Фельдфебель: Дашенка?

Вызванный: (с разыгранной серьезностью и с некоторой обидой в голосе): Нет, я не Дашенька, а Иван.

Гомерический хохот прокатывается по рядам.

Недоумевающий фельдфебель переводит глаза с корчащихся от смеха фигур на растерянного переводчика—немецкого поляка, ничего не понимающего по-русски, и на сдерживающую улыбку покорную фигуру ссыльного, отказывающегося от чести быть и Душенькой, и Дашенькой.

Из наших рядов раздается не совсем скромное покашливание, несомненно направленное по адресу фельдфебеля. Это Товстер из Дубно. Он, когда его попросят, с большим удовольствием и апломбом исполняет роль переводчика, беря не столько знанием языка, сколько интуицией, часто попадая впросак, но выпутываясь с ловкостью, повергающей в восхищение оффициального переводчика.

— Товстер!—с заискивающей начальственностью подзывает его фельдфебель.

Товстер выходит. Торжественно берет список и стараясь придать своему голосу фельдфебельский тон, вызывает:

— Душенко Петер! Петер это значит Петр. Ну?! Есть тут Петр Душенко или Дуженко?

— Та це мабуть Довженко! Петро Довженко,—догадывается кто-то.

Довженко, ковырявший до этого времени в носу, вдруг схватывается, что, пожалуй, и в самом деле речь идет о нем, так как его уже не раз немцы называли Душенькой, и выходит из шеренги.

Фельдфебель ругается:

— Verfluchte Schwein! Dummer Kopf!

Товстер этого не переводит, но гордый тем, что, благодаря его просвещенному содействию, начальство выведено из затруднения, продолжает читать по немецки, с фельдфебельскими ударениями (И'фан, вместо Иван), а затем переводить по русски стоящие в списке имена и фамилии.

Из нас мало кто переваривал этого Товстера!

Сплошь и рядом случалось, однако, что не помогало и его искусство. Называемых фамилий у нас совершенно не оказывалось.

В одном из своих писем я приводил следующий факт:

„Когда фельдфебель стал вызывать предназначенных к отправке в Брест, то из списка в 56 человек на лицо оказалось 39. Где остальные и кто они, не известно ни нам, ни немцам. Какие-то мертвые души"!

С этим фельдфебелем у нас особенно значительных столкновений не бывало. Он церемонился с нами, „bessere Leute", отыгрываясь за то над беззащитными военно-пленными, над беженцами и над крестьянской покорной массой. И тут, впрочем, он если и проявлял жестокость, то во всяком случае не выходящую из рамок освященной обычаем, свойственной всем немецким тюремщикам почти без исключения.

Врага в нем мы не чувствовали.

Но за то врагом, открытым врагом, был тот вахмистр тайной полиции, который навестил нас один раз в Бяльской тюрьме и, который в середине июня был назначен в лагерь в качестве политического наблюдающего за нами.

В бараки к нам он не заходил. Но его козлиную бородку мы видели то с одной, то с другой стороны нашей проволочной клетки.

Подойдет, уставится в нас своими острыми сыщицкими глазами и изучает. Постоит и уйдет.

Мы думали, что в этом и состояли все его обязанности.

Но оказалось, что у него в пределах лагеря была своя канцелярия и все бумаги, касающиеся нас, проходят через него. Через него же проходила и наша переписка и посылки.

Ближе познакомиться с ним и выяснить его функции выпало на мою долю.

* * *

26 июня, как раз в тот самый день, когда у нас происходило переселение в новый барак, в самый разгар неизбежной при таком переселении народов суматохи, появляется во дворе переводчик и приглашает меня последовать за ним.

„Верно посылка или деньги", думаю, я и аллюром резвого жеребенка мчусь к калитке, сопровождаемый завистливыми взглядами и возгласами товарищей.

Подходим к конторе. Я вхожу честь—честью, снимаю шапку. Старый вахмистр встречает меня в первой комнате. Я вежливо здороваюсь с ним, говорю: „guten Tag!".

Он хоть бы глазом моргнул. Осмотрел меня недружелюбно с ног до головы, остановившись некоторое время взглядом на моих босых ногах.

— Говорите по немецки?

— Немного.

Он что то ворчит себе под нос и идет, взяв со стола какие то бумаги, в другую комнату. Я за ним.

Между прочим, он был без мундира, в грязной рубашке.

Закрыв дверь, он подошел к стоящему у окна столику, достал сырое яйцо, методически проделал в нем дырочку, потом другую с противоположной стороны и со смаком, причмокивая, стал тянуть содержимое. Вытер рот грязным платком. Затем берет бумаги, усаживается и готовится мне что-то об'являть или делать допрос, не приглашая меня сесть.

Вся эта процедура мне страшно не понравилась. Я начинаю злиться.

Но все же, сохраняя внешнее спокойствие, беру стоящую у стены скамеечку, подношу ее к столу и сажусь против него.

В первый момент мой немец ошалел от такой дерзости. Он вытаращил на меня глаза и от напряжения открыл рот.

И вдруг из этого открытого рта вырвался дикий крик:

— Aufstehen! Встать!

Собрав все свое хладнокровие и медленно подбирая слова, я об'ясняю ему, что надобности в этом не чувствую и что, наоборот, очень желаю оставаться в сидячем положении.

Он орет еще больше, причем в потоке ругательств, которые он на меня сыплет, я различаю слова: арестант, ферфлюхте и т. д. Наконец хватает меня за руку и тянет вверх, вставши сам.

Несколько теплых, но не ругательных слов отпускаю и я ему, стараясь в то же время освободиться от его цепких рук. Наконец, это мне удается и мы в позе двух раз'яренных петухов стоим друг перед другом. Стараясь сдержать закипевшую во мне ярость, я пытаюсь убедить его в том, что я не арестант, а политический ссыльный и его сидящего выслушивать стоя мне не по душе.

Разгорячившись, мы начинаем плохо понимать друг друга и я вызываю из соседней комнаты переводчика.

Вахмистр пред'являет мне требование стоять, так как он, мол, беседует со мной по служебным делам.

Я ставлю ему ультиматум: быть вежливым, во-первых, а во-вторых, пригласить меня сесть, если он намерен говорить со мной сидя.

В весьма грубой форме мой ультиматум отклоняется. Старая жандармская крыса, очевидно, полагает, что я все таки подчинюсь. И полная растерянность слышна в его голосе, когда я нахлобучиваю на голову шапку, поворачиваюсь к нему спиной и решительно шагаю к двери.

— Дело идет о вашей жене,—бормочет он мне вслед. В ответ я так хлопаю дверьми, что трясется вся жидкая барачная постройка.

В тот же день я написал жалобу в Инспекцию Буг, изложив фактическую сторону инцидента, протестуя против такого отношения к политическому ссыльному и требуя, чтобы на будущее время меня оградили от подобных оскорблений. Конечно, из этой жалобы ровно никаких результатов не получилось. Конечно, немецкий сыщик изложил в свою очередь дело по своему, т. е. что он стоял, а я сел, что когда он сел, я схватил его за руку и стал требовать, чтобы он встал и т. д.

На этом инцидент и кончился. Встречаясь со мной, вахмистр с этого времени всегда демонстративно отворачивался. Он затаил свою злобу и только ждал первого удобного случая, чтобы отомстить мне. И, конечно, отомстил.

Каково было содержание той пачки бумаг, для об'явления которых меня вызывали в контору, и при чем тут была моя оставшаяся в Житомире жена, я узнал очень не скоро. Как то уже в июле месяце пришел к нам в барак секретарь судьи с той же самой пачкой и сообщил, что жена моя отказалась признать мою подпись в пред'явленной ей росписке о получении мною денег. Я должен был вторично расписаться и по русски и по немецки, причем секретарь просил меня расписаться так, чтобы на этот раз уже сомнений не было.

* * *

Появились у нас и совершенно инородные элементы.

Под огромным конвоем в пределах лагеря увидели мы однажды странное шествие. Шло несколько молодых женщин с истощенными, измученными лицами, без багажа. Они были в костюмах сестер милосердия. С ними шло несколько мужчин с повязками Красного Креста.

Это была случайно уцелевшая часть санитарного персонала из захваченного немцами в плен и затем расстрелянного большевистского десанта. Мужчины были помещены у нас, женщин же устроили в отделенном от нас двумя проволочными заборами бараке для привиллегированных беженцев. Не буду я рассказывать того, что услышали мы о „культуре“ немецких завоевателей от этих

несчастных. От общей участи их спасло знание одной из сестер немецкого языка и милосердие, а, может быть, и пресыщение кровью того немецкого офицера, перед которым с мольбой о пощаде упала она на колени. Без денег, без одежды и белья послали их всех сначала в Бялу, а через некоторое время и дальше, вглубь Германии.

Через несколько дней в тот же барак, который занимали сестры, пригнали еще одну партию женщин. Тоже взятых где то в плен, но уже совсем другого типа. О них можно сказать одно: их оставили в Бяле, повидимому, для того, чтобы немецким солдатам не было нужды слишком часто отлучаться из лагеря.

* * *

Промелькнула перед нами и более интересная компания. Это были четыре англичанина. Кто они были, где и при каких обстоятельствах выловили их немцы, я так и не узнал.

Посадили их в одной из комнат того же беженецкого барака, где сидели сестры.

Слух об их прибытии дошел до нас раньше, чем мы их увидели. И надо сознаться, мы сгорали от любопытства взглянуть на этих редкостных птиц. После бани они, наконец, появились на своем дворе, раскрасневшиеся, чистенькие, гладко выбритые. Вынесли скамейку и чинно уселись рядом, не обращая никакого внимания на нас и на ясно выраженное с нашей стороны желание вступить с ними в общение. Посидели немного и потом, отдохнувши, видно, затеяли с величайшей серьезностью какую то чисто английскую игру, как решили наши, с особым интересом наблюдавшие их, оборванцы. Игра эта состояла в том, что на земле была проведена черта и каждый из англичан, становясь в классическую позу дискобола, старался издали попасть в эту черту монеткой.

— Це вони німців дратують,—авторитетно заявил один из наших „дядьків".

— А бородатый „кацап“ из Курской губернии, понаблюдав некоторое время серьезные лица и мускулистые фигуры наших „союзников“, изрек:

— Кровь полируют после бани, чтоб, значит, голова не болела.

Я наблюдал этих англичан в течение почти двух недель, прошедших со дня их прибытия до моего перевода в тюрьму. И несмотря на столь близкое соседство, не услышал с их стороны ни одного человеческого слова. Надо ли приписать это их чисто британской флегме, или их высокомерному презрению к украинской нации, под флагом которой все мы числились,—сказать не берусь.

III

СНОВА В ТЮРЬМЕ

Лагерная теснота, вечный шум, споры и ссоры в конце концов стали мочалить и мои притерпевшиеся нервы. И не раз в письмах к жене и в разговорах с наиболее близкими товарищами выражал я желание:

— Хоть бы снова в тюрьму на отдых попасть!

Судьба вняла моей мольбе. В лице козлобородого вахмистра появилась она однажды у проволоки возле самого окна нашей партийной комнаты, как раз в тот момент, когда публика затеяла громкий и бестолковый спор по одному из вопросов, всегда разделявших эс-деков и эс-эров.

Конечно, со стороны и не понимающему языка вдобавок, человеку могло показаться, что вот-вот спорящие вцепятся друг другу в волосы. Я по себе знаю это чувство. Не раз, слыша споры на чужих языках, особенно восточных, я опасливо отходил в сторону, чтобы как нибудь не попало и мне.

И вахмистр должен был отойти или, вернее, просто продолжать свой путь, так как, судя по штатскому костюму и палке в руках, он направлял свои стопы в город.

Но в нем заговорило ретивое. „Беспорядок“—несомненно решил он. А если немец увидит беспорядок, то, как хорошо

известно всякому русскому человеку, он должен его устранить. А немецкий вахмистр должен устранить этот беспорядок палкой. Это тоже всякому хорошо известно.

К счастью, между вахмистерской палкой и нашими спорщиками была проволока, а от проволоки до окна барака не менее трех аршин. Палка оказалась короткой. Но все же она совершила ряд эволюций в нашу сторону.

Но если не достигла наших спин палка, то ушей наших достигла весьма патетическая речь, а некоторые элементы этой речи вошли и в наше сознание.

— Verfluchte Bande!.. Skandal!.. Jüdische Schweine!.. Seid Arrestanten!.. Schweigen!.. Aufhören!..*).

Словом, немец „зацурюкал" или „зачирикал", как говорили наши пленные солдаты, и зачирикал настолько невежливо, что разгоряченные головы наших спорщиков разгорячились еще более, и шум поднялся не вероятный.

Я в это время мирно лежал на своем месте, на верхнем этаже стоявшей у окна койки и пытался, невзирая на громкий разговор, читать книгу. Но когда послышался звон от ударов палкой по натянутой проволоке и ненавистный мне голос заверещал знакомые уже слова, я свесил голову вниз и оказался в поле зрения вахмистра. Не поручусь за то, что лицо мое было совершенно спокойно и на нем не появилось какой-нибудь гримасы, отразившей злобно гримасничавшую внизу рожу.

А товарищи, увидев меня, загалдели:

— Вороницын! Вы что же смотрите? Скажите этому идиоту, чтобы он замолчал! Скажите этой сволочи, чтоб убирался к черту! Прогоните его вон!

Собственно говоря, мне не следовало их слушаться. Об'яснились бы в конце концов и без меня. Но привычка предоставлять свои слабые знания немецкого языка в полное распоряжение без'язычных товарищей, а кроме того и личное

---

*) Проклятая шайка!.. Скандал!.. Жидовские свиньи!.. Вы арестанты!.. Молчать!.. Перестать!.. — «Зацурюкал» (испорченное «зачирикал») от немецкого «Zurück»—назад, осади и т. д.

желание „осадить“ эту собаку, побудили меня открыть рот. Я сказал несколько ясных и вразумительных слов, вроде:

— Прекратите вы скандалить... Идите своей дорогой... Мы вправе делать в бараке, что хотим...

Немец меня не послушался. Тогда я уже весьма громко крикнул:

— Gehen Sie weg! Убирайтесь! Мы не желаем с вами разговаривать!

Это оказалось убедительным. Завопив какие-то угрозы и еще помахав немного палкой, он, наконец, отступил. Отступление его мы ознаменовали свистками, лаем, мяуканьем и теплыми словами. Рекорд побил лидер наших эс-эров в то время—Алексей Иванов: не удовлетворившись словесностью российской, он за благо рассудил словеснуть по-немецки и в единственное известное ему немецкое слово „швайн“ (свинья) вложил такую экспрессию, что удалявшийся вахмистр даже подпрыгнул.

* * *

Дальше следуют выписки из моих дневников—писем к жене, довольно часто нелегально отправлявшихся всяческими путями на родину.

Воскресенье, 28 июля. Это было 25-го, в четверг. Было серенькое утро. Сетка мелкого дождика покрывала окрестности нашего лагеря. Я умылся, позавтракал мутной „кавой“ с кусочком черствого хлеба из каких то мучных суррогатов и собирался уже с книжкой забраться на свою койку, как пришел фельдфебель и, выкрикнув мою фамилию, приказал:

— Фертиг махен!—Это значит: приготовиться, собраться.

Куда? Зачем? Почему?—на все эти вопросы мои и моих товарищей он отговаривался незнанием, а под конец и совсем отказался разговаривать. Ясно было, что ничего хорошего в этом приглашении не было и я выразил сразу уверенность, что нас (кроме меня вызвали еще одного из ссыльных) переводят в тюрьму. Вспомнил я про свою стычку с вахмистром тайной полиции, после которой и сам этот вахмистр и наше ближайшее начальство—рыжий комендант с

рачьими глазами—смотрели на меня зверем. Вспомнил и про ту ругню с тем же самым вахмистром, во время которой его обозвали свиньей, причем я хотя и не ругался, но все же несколько выделился. Другой вызванный тоже был немного замешан в этом деле. Вернее сказать, был замешан его брат. А в сущности и брат не был замешан, но его замешали. Странно, правда? Но у немцев бывали вещи и постраннее. А тут все произошло довольно разумно. Обругал полицейского высокий и бледный человек. И когда немцы захотели узнать его фамилию, они послали в барак на опознание того часового, при котором было дело и который своими глазами видел обидчика. Пришел часовой с переводчиком и видят—сидит на табуретке высокий и бледный юноша и читает себе книжку. Высокий, бледный и вдобавок еще и белокурый. Приметы на лицо. Часовой и показал на него. Переводчик спросил его фамилию и записал. Об имени спросить не догадался. Это был младший из братьев Усатовых, а в списке первым стоит старший. Таким образом, старший брат попал в тюрьму вместо младшего, а младший должен был сесть вместо немолодого уже, но высокого и бледного, а вдобавок седоватого (но не белокурого) Иванова. Так мы оба ни за что, ни про что и очутились в тюрьме и сидим сейчас в 19-й камере.

Целый час проманежили нас зачем то в канцелярии лагеря, а потом, закинув за плечи свои сумки, мы пошли. Нас трое; к нам за компанию прибавили еще одного крестьянина, сосланного за хранение оружия, присужденного к тюрьме, а теперь пересылающегося в центральную тюрьму в Вильно. Повели нас не прямо в тюрьму, а в суд. Вероятно, лагерная комендантура полагала, что судья должен нам сообщить, за что и на какой срок нас засаживают, а, может быть, и от самого судьи было такое распоряжение. Мы были рады этому: надеялись, что в суде выяснится все это недоразумение, относительно Усатова, по крайней мере, или же, во всяком случае, нам удастся заявить свой протест. Но у судьи нас не только не выслушали, но даже и не приняли. Посидели мы там несколько минут на крылечке, немцы о чем то между собой поговорили и без всяких бумаг, без всякого

об'яснения повели в тюрьму. Сидим уже три дня, а и до сих пор сержант, заведующий тюрьмой, не получил никаких бумаг, мотивирующих наше пребывание тут...

...Посадили нас в очень сносную камеру. Это Frauenzelle (женская камера). Небольшая и довольно чистая. В нарах, примощенных вдоль стены, клопов не так много, как там, где мы сидели в первый раз. Один немец сострил: клопы—гинофобы (женоненавистники) и предпочитают жить в мужских камерах. Зато мышей здесь бездна, не боятся нас нисколько и бесстрашно штурмуют наши припасы. В сумерках вечера—нам огня не дают—я наблюдал, как одна из них с замечательной ловкостью влезла по пруту решетки и принялась уплетать мой хлеб, положенный на верхней перекладине.

Из окон недурной вид. Внизу прямо—сады и огороды. Вправо и влево—жалкие домишки еврейской бедноты, полные детишек различных калибров. Расстояние смягчает убогость этих лачуг, а звенящее вокруг них и в них самих щебетанье этой детворы ласкает слух узников. Дальше направо—роща, еврейское кладбище, повидимому. Налево тоже высокие деревья торжественно охраняют вечный сон покойников католических. Еще дальше—поля. Там уже снимают хлеб. И весь вид замыкает синяя черточка далекого леса.

Здесь тихо, бесшумно внутри. Нервы отдыхают от лагерного галдежа. Я доволен и не волнуюсь так, как волнуется мой сокамерник.

* * *

Воскресенье, 11 августа. В нашей камере два дня пробыли гости из Житомира. Бундовец Гольдфельд—свой. Двое чужих—полковник Потехин и шт.-капитан Дьякончук—офицеры, с немецкого разрешения вербовавшие добровольцев в Житомире, а потом арестованные. Оставляя в стороне их политические убеждения, можно сказать, что люди сами по себе не отталкивающие. У Гольдфельда с ними наилучшие отношения. Я привык уже к тому, что вместе с нами, социалистами, честью называть себя политическими пользуется и желто-блакитная, и трехцветная и всякая иная с....ь. Таковы времена и таковы нравы.

Совершенно неожиданно для нас гостей наших повезли в Брест, а не отвели в здешний лагерь. До сих пор в Брест отсылали только крестьян. Думаю, что там условия будут не хуже здешних.

Мой сокамерник—украинец. Из дуже щирых. К своей фамилии Усатов он прибавляет: Усатенко. Но живем мы с ним мирно.

Сейчас он стоит у окна и вздыхает:

— Что это вы?—спрашиваю его.

— Душа болить.

— В каком месте?

— Ось тут,—говорит он и показывает на желудок.

А мне весело и я „регочусь“, как он оскорбительно отзывается о моем добродушном смехе.

Я утверждаю, что „душа“ у него болит от вонючего немецкого сыра, что по случаю воскресного дня дали нам на ужин. Он с'ел не только свою, но и мою порцию.

* * *

Понедельник, 12 августа. Утром я пошел умываться на двор. Прохожу мимо „приемной камеры“, что внизу под лестницей, и слышу много детских голосов, смех, песни.

„Что за черт“—думаю „Хедер, что-ли взбунтовался против немецкой власти и в тюрьму попал?“

Да, это были арестованные дети! Большинство из них в возрасте 13—14 лет, маленькие ростом, худые и слабые. Но милые, веселые дети бедноты, не плачущие в тюрьме.

Я не считаю себя человеком со слишком мягким сердцем. Я много страшного и злого видел в жизни. Но когда немецкий ключник с палкой выгнал их на двор к колодцу умываться и когда на лицах их потухли улыбки, а с губ вместо веселых слов песни стали срываться жалобные крики боли,—страшная жалость охватила душу. А потом это чувство покрылось тяжелой ненавистью и злобой.

Мне раньше рассказывали, что немцы берут на принудительные работы и детей. Говорили, что много их, этих нежных и хилых цветов убогой еврейской жизни умерло на

этой страшной каторге от непосильной работы, от жалкой пищи, от сырости осенних дождей и холода зимних вьюг. Я скептически относился к этим рассказам, видел в них преувеличения. Теперь я убедился, что это правда. Страшная и жестокая правда. Не знаю, на какие работы взяли вот этих детей. Может быть и на легкие. Но их выхватывали ночью из дому. Никто из них не имел ничего из необходимых вещей. К ним никто из родных не успел придти. Их спешно увезли куда-то.

Теперь я не буду уже удивляться, как раньше, когда услышу от местных евреев: „Хоть бы скорее Украина сюда пришла". Этого прихода „Украины" они ждут, как пришествия Мессии.

* * *

С первого дня моего пребывания в Бяле меня поражает, какая бедность тут живет. Говорят, что раньше было лучше. Вероятно, это не совсем так. И здесь, в тюрьме, и ходя в баню, на улицах городка, я присматриваюсь к тем людским типам, что я вижу. Горбатые, истощенные, со всякими болячками на лице. Совершенно здоровых экземпляров я почти не замечал. Особенно еврейские женщины. Таких уродов, такой страшной человеческой коллекции я еще не видел. И это жены и матери! Сколько поколений еще нужно, чтобы исчезла эта вонючая людская слизь, эта отвратительная, с физической стороны, человеческая разновидность, это воплощенное вырождение, чтобы на их место пришли... ну, хоть только такие, каких мы видим всюду, в других местах...

И ко всему этому одежда! Лапсердаки, шапочки, узкие и круглые, выражение той бедности и скудости мыслей, которая ими прикрыта. Пейсы... чуть не у грудных детей вы видите эти ужасные, специально культивируемые локоны на висках. Женщины носят рыжие грязные парики. А некоторые украшают еще это безобразие какими то наколками с фантастическими цветами. Ужасные обычаи! Навозные моды! И немцы, гоняющие эти вшивые парики, эти пейсы, лапсердаки и шапочки в свою баню, не способны принять

мер против этих пережитков средневековых гетто. Я думаю, что эти гордые завоеватели, эти павлины, расхаживающие по улицам, считают в порядке вещей все эти явления. Ведь эти внешние признаки—признаки „нисшей расы", понятие о которой они вдалбливают в головы всех покоренных и завоеванных.

А какая нравственная гниль и вонь скрыта там, в этих лачугах, в обиталищах этих современных троглодитов. Но в то же время сколько ярких искорок живого духа не потухают в этих „дебрях". Есть среди них и Мееры Юзефовичи, ищущие дорогу с завязанными глазами в этом мраке. Я видел их в тюрьме, еще не срезавших своих пейсов, в лапсердаках и шапочках. Есть и другие—наши братья и товарищи в великой борьбе. Их тонкие руки и слабые плечи с трудом выдерживают. Но какие они бодрые, какие они молодые! И какие они чуткие! Косность среды, социальный гнет, страшно сильный в этом болоте, и железные тиски бездушной немецкой оккупации—вот тройная тяжесть, которую они подняли, скрываясь под фирмой „литературно-драматического кружка". Своими заботами с воли они облегчали и продолжают облегчать наше положение. А попадая в порядке „обще-гражданской" повинности в тюрьму, эти бундовские юноши и девушки вливают в нас, „стариков" новые силы...

... Нам до сих пор еще не сказали, за что и на сколько времени мы посажены. А уже кончается третья неделя. Вчера мы, наконец, услышали, что в нашем деле что-то зашевелилось, началось какое-то движение. Брата моего товарища уже допрашивали в лагере о том, что известно ему по этому делу. Не он ли крикнул вахмистру „свинья"? Он, как и все другие, ответил, что нет, и выразил пожелание, чтобы и его тоже посадили в тюрьму.

Я удивляюсь товарищам в лагере. Они обязаны заставить Иванова сказать, что это крикнул он и что Усатовы тут не причастны ни ухом, ни рылом. Вместо этого они требуют или нашего освобождения, или заключения в тюрьму всех их. Это просто глупо, так как очевидно, что это останется пустым жестом, поскольку они не подкрепят его более серьезным выступлением. А на такое выступление силы у

них нет. И Иванова я считал более мужественным человеком. Еще тогда, сразу после инцидента, я сказал ему, что он обязан заявить, что крикнул он, в случае, если немцы заберут кого либо другого. Он как будто обещал, но... сдрейфил, как пишут товарищи из лагеря.

* * *

Понедельник, 19 августа. Сегодня увели моего англичанина. А обрел я его вот как. Однажды, когда нас выпустили на прогулку, я увидел на дворе странную фигуру. В широкополой шляпе, какие носят немецкие крестьяне, в зеленой фуфайке и в громадных сапогах. Парень из себя коренастый, шея как у вола, а на лице так и написано сознание собственного достоинства. Ходит себе по мощеной части двора, ни на кого не смотрит, ни с кем не разговаривает. Думаю, гадаю—что это за птица.

На другой день, на третий—та же картина.

Подхожу к нему и спрашиваю:

— Откуда вы, товарищ?

Видно, что не понял меня, но внимательно осмотрел и пошел дальше. Я не отстаю, спрашиваю по—немецки. Тяжелым языком, точно выплюнул: „энглендер".

— Ага, так вы,—говорю ему по-английски,—инглишман.

— Yes, y es, sir!

И пошло. Начал я понемногу вспоминать всякие английские слова и говорить их ему, а он их понимает. Но я его английских слов никак не могу одолеть сразу. Часто приходилось ему переводить их на немецкий язык или даже изображать палочкой на земле буквами. Но понемногу мы сговорились и в конце-концов стали вести разговоры на политические даже темы.

Он австралиец, рабочий - железнодорожник. В плену был два года. Удрал из своего лагеря и шел в направлении на Украину в течение четырнадцати дней, пока его не поймали в окрестностях Бялы.

— Куда же вы шли, mate (товарищ)?—спрашиваю его.

— В Москву.

Какова завзятость!? Не зная языка, по паршивенькой немецкой карте, жарит в Москву без пересадки. Почему именно в Москву, а не в какое нибудь другое место?

Москва его интересует сама по себе. Он еще в Австралии много читал о ней. Интересно посмотреть.

При расставаньи мы с ним долго трясли друг другу руки. От этого handshake у меня и сейчас болят суставы. Обменялись адресами. Он зовет меня, когда кончится война и „мы вздуем этих damned huns (проклятых гуннов)", к себе в Сидней погостить. Я в свою очередь,—чтоб в долгу не остаться,—зову его приехать в... Москву. Я ему покажу всю Белокаменную. Он записывает „белокаменную" латинскими буквами и перевод этого „замечательного слова". Еще раз танцуем друг возле друга, пытаясь вывихнуть один другому плечи, и расстаемся. Когда он проходит в низкую калитку, головы не склоняет, а сгибает колени.

Толстый патриот Юбераллес—так мы с англичанином прозвали привратника за его любовь к национальному гимну—с почтением смотрит ему вслед.

* * *

... Много встречается тут других интересных типов. Не говоря уже о жителях Бялы, образующих здесь большинство, в эту тюрьму сажают военнопленных, удирающих домой из различных лагерей Германии, так как окрестности Бялы, по своим естественным особенностям, являются ловушкой для всех беглецов, пробирающихся в направлении на Ковель. Они рассказывают мне об условиях жизни пленных, о своих путешествиях через Германию и Польшу. Целые романы можно писать по их рассказам, столько приключений приходится каждому из них переживать на этом долгом пути. Их выдерживают здесь по несколько дней, а потом возвращают на старые места.

От времени до времени сталкиваюсь я с немецкими солдатами, сидящими тут в немалом количестве. Много немецких с.-д. С ними тоже любопытно беседовать. Все они в один голос утверждают, что революционное движение делает огромные шаги. До взрыва, говорят, пожалуй дойдет

и не так скоро, если кардинально не изменятся внешние военные обстоятельства. Но взрыв неизбежен: без него страна не вернется к равновесию.

Есть и такие типы, которых ни к какой категории подвести невозможно. Вот и сейчас ходит тут на дворе, в часы прогулки, хлопец лет шестнадцати. Сначала он казался мне ненормальным. Ни с кем не разговаривает. Одет в лохмотья, босой, глаза всегда опущены вниз. Гордый, никогда не идет после раздачи обеда к дверям кухни за остатками супа, как это проделывают все голодающие пленные и крестьяне и даже мой гидальго Усатов-Усатенко... А денег у него нет... Сначала я подумал, что это какой нибудь крестьянский парень.

Однажды, проходя мимо него, я говорю ему.

— Добридень, хлопче!

На это он чистым русским языком отвечает:

— С добрым утром.

Я был заинтригован, но в тот же день других подходов к нему не делал.

Через день или два я снова первый подошел к нему и по русски уже спрашиваю:

— Ну, как живется вам тут? Плохо, наверное?

Вижу, малый обрадовался, но показать этого не хочет. Лаконически отвечает:

— Скверно.

Сказал я ему еще несколько слов, подбодрил его и отошел к своему англичанину.

В другой раз он уже сам подошел ко мне и спросил:

— За что вас здесь держат?

С этого момента наши беседы стали менее лаконичными и мало-по-малу я завоевываю его доверие. Знаю о нем уже, что он учился в Седлецкой гимназии, убежал оттуда. Невыносим стал гнет оккупации и польский шовинизм. Как русский, он вдвойне страдал от этого. Манит его к себе русская жизнь и революция. Он преклоняется перед большевиками, но на мир с Германией не согласен.

— Они не знают, верно, что такое немцы и что они проделывают тут.

* * *

Вторник, 27 августа. Наконец-то! Завтра или послезавтра я снова услышу сакраментальное: „фертиг махен“, звучащее так же чудесно как былое русское: „собирай вещи“. И... марш!

Вчера мрачный ходил я утром на прогулке: я давно не имею вестей из дому и волнуюсь. Вся моя философия разлетелась к чорту. Знать бы, что роды (еще в начале августа жена моя должна была родить) прошли благополучно, и я сразу обрел бы привычную тюремную ясность духа.

Идет привратник, Мюллер, сменивший опять на этом посту патриота Юбераллеса, и говорит мне:

— Морген!

Я ему тоже в ответ:

— Морген.

— Ну, mein Herr, завтра вас, наконец, в суд поведут, узнаете свою судьбу теперь. Может быть, снова в лагерь пойдете.

Мюллер не обманул. Сегодня утречком пришел ординарец Роте и зовет к судье.

Обрадовались, что будет какой нибудь суд.

Вместо суда, однако, устроили нам допрос. Это через месяц после того, как нас посадили!

Спрашивали как было дело, кто оскорбил вахмистра и т. д.

Против меня было только такое показание свидетеля, часового, стоявшего на посту в момент столкновения:

„Когда вахмистр стал кричать на интернированных, то он (т.е. я) в свою очередь крикнул: „разве мы не имеем права громко между собой разговаривать“. Свое первоначальное показание против Усатова он совершенно снял, заявляя, что не берется узнать, кто крикнул „швайн“.

И по таким то шатким основаниям нас целый месяц держали в тюрьме! Правда, было еще показание самого „обиженного“ вахмистра, но я так и не узнал, что этот достойный джентльмен изобразил в своем донесении. „Это

служебная тайна",—ответили мне на просьбу пред'явить эту бумажку.

Секретарь судьи, очень вежливый и образованный, и вдобавок еще, повидимому, и совершенно порядочный человек, после допроса сказал мне:

— Завтра или послезавтра вы должны быть перевезены в Брест, в „офицерский лагерь". Там вам будет лучше, чем здесь.

— А туда я поеду один?

— Нет, еще и другие...—и он назвал фамилии нескольких товарищей.

В лагере жизнь стала невозможной, как видно из рассказов одного товарища, с которым я встретился у судьи.

В офицерскую половину малого барака перевели тех женщин, о которых я писал уже раньше. Что из этого получилось—можно легко себе представить. Особенно по ночам, когда туда пробираются немецкие солдаты, там бывает „содом и гоморра", как выразился этот товарищ.

Маленькая бытовая картинка. Вышли мы один раз на прогулку. Как раз на прогулочный двор выходят окна полицейского арестного помещения, в которое сажают особ рангом повыше обычных тюремных жителей. Сидел там раньше один немецкий офицер, потом местный банкир еврей, забрыкавшийся, когда немцы стали доить его несколько сильнее обычного. На этот раз в окне показалась фигура русского типа. Что, думаем, за птицу поймали немцы, что с нами грешными не сажают. А птица эта преспокойно скинула с себя рубаху и, блистая нагим упитанным телом по настоящему, по арестантски... вшей ищет и тут же на окне ногтком их... Посмеялись мы и пошутили. А на другой день прониклись почтением, услышав, что особа эта никто иной, как знаменитый Парамонов, когда то издававший газету „Донскую Речь", популярные брошюры крамольного свойства и оказывавший солидные услуги нелегальным социал-демократам. Бывший человек, одним словом. А сейчас и бывший министр вдобавок. Нам сказали немцы, что он был председателем совета министров государства, называю-

щегося „Всевеликое Войско Донское". Так преходит слава мира сего.

* * *

Среда, 28 августа. Усатова-Усатюка-Усатенко-Усатовича перевели обратно в лагерь. Сегодня утром узнал, что в лагере вчера вечером несколько человек из нашей публики перерезали проволоки и удрали. Молодцы ребята. Жалею, что меня с ними не было.

Понедельник, 2 сентября. Меня продолжают держать в тюрьме, ничего, разумеется, по-немецкому обычаю не говоря.

Что делают с людьми эти немцы! Сегодня нам опять уменьшили порцию. Вот и сейчас я получил на ужин литр жидкой и несладкой водицы, называемой „Kaffee" и больше ничего. На обед была такая же водица (тоже литр), в которой плавали полуразваренные мелкие груши. Это называется „Suppe". На сутки стали давать только $^1/_2$ фунта черствого хлеба. Люди голодают.

Вторник, 3 сентября. Вчера „ордонанца" водил меня в баню. Пропарил белье и одежду, но русские вши видно не боятся немецких „Entlausungs"—аппаратов. Только еще злее стали кусаться.

Сегодня снова на пост стал старый ключник Юнг. Закрывая сейчас на ночь двери моей камеры, он сказал:

— Через несколько дней вы, mein Herr, будете далеко отсюда.

— Кто это вам сказал, Юнг?

— Не могу сказать, но будьте уверены, что это так и будет,—серьезно сказал он и вежливенько закрыл дверь.

* * *

Сейчас, с площади, находящейся за тюрьмой, до меня доносится непрерывный, частый-частый стук молотков, которыми маленькие еврейчики разбивают щебень. Тяжелая и вредная работа, особенно для этих хрупких и без того надорванных организмов.

Вчера в клозете я встретил совсем маленького мальчика и спросил его, за что он сидит. Наполовину по-польски,

наполовину по-еврейски он ответил, что его уже давно взяли отсюда из Бялы и отвезли в Брест-Литовск, где он должен был бить щебень. Но он соскучился и убежал. Теперь он отсидит здесь несколько дней и его снова отвезут в Брест, потому что там мало жителей.

— А отец и мать есть у тебя?

— Есть, тут в Бяле живут.

По улицам этого города противно ходить. Приходишь обратно в тюрьму и кипишь весь от бессильного гнева, от ненависти, от злобы.

На этом прерывается написанная в Бяльской тюрьме часть моего дневника. 4-го сентября утром меня отвели в лагерь, откуда в тот же день отправили в Брест-Литовск.

IV

ЕЩЕ О ЖИЗНИ В ЛАГЕРЕ

Прежде чем расстаться с Бялой и приступить к рассказу о Брест-Литовской крепости, я хочу кратко рассказать о том, как проходила жизнь за это время в лагере.

Еще при мне стали приходить арестованные немцами участники железнодорожной забастовки, в большинстве стойкая и выдержанная публика.

Большую группу прислал в начале августа Харьков. Это были эс-эры, арестованные немцами в помещении партийного клуба: Г. Т. Качоровский, Л. Н. Тавровский, Н. А. Солодилов, Е. М. Будянский, Я. И. Курт, К. А. Драбинка, Ляскало, Сапунцов и др. Среди них оказался и анархист Соколов, только что перед тем бежавший от белых, которыми был приговорен к смерти, и искавший в эс-эровском клубе убежища.

Харьковцы были теплой и дружной компанией, внесшей большое оживление в пятый барак, а впоследствии в Бресте образовавшей одну из наиболее дисциплинированных коммун.

Прибытие их в лагерь ознаменовалось стычкой с немцами.

Несмотря на то, что еще накануне партия в Пинске подверглась обязательной бане с возмутительным медицинским осмотром половых органов, комендант Бяльского лагеря в свою очередь отправил их в баню. В бане по немецкому обычаю их стали мазать вонючей мазью, от которой с тела многовенно слезают все волосы, и предложили подвергнуться стрижке.

Публика отказалась, заявив, что кто хочет стричься, тот пострижется и без помощи немецкого цирульника, а кто пожелает носить длинные волосы, того, мол, стричь мы не позволим.

Немцы не захотели и разговаривать. Первым на очереди был Скворцов. Приставленный к бане унтер схватил табуретку, надел ее ему на голову и принудил сесть. Скворцов стал барахтаться. Ввязались товарищи и произошла общая свалка.

Немцы все же настояли на своем. Многим сильно досталось. Особенно избитым оказался Скворцов.

В бараке харьковцы приняли энергичное участие в подготовке к массовому побегу. Но избитый Скворцов ждать не захотел.

— Чего там откладывать!—заявил он,—чтобы еще раз бока намяли проклятые немцы!

И он воспользовался первым представившимся ему случаем, чтобы на воле беспрепятственно вновь отрастить свою роскошную шевелюру.

В то время начальство ожидало приезда генерал-инспектора из Инспекцион-Буг. Принялись за уборку и чистку лагеря.

Рабочие очищали отхожие места, выносили мусор. Когда одна из этих партий под конвоем вышла из лагеря, Скворцов схватил ведро и метлу и, дав партии немного отойти, подбежал к калитке.

— Эй, пан, отвори!—крикнул он часовому.

Тот, думая, что это отставший от партии, ворча отворил калитку и выпустил его. Скворцов, делая вид, что догоняет партию, шмыгнул в сторону, бросил ведро и метлу и подавай бог ноги. Немцы так и не узнали, каким способом он удрал.

* * *

Общий побег долго организовывался.

Слишком много препятствий стояло на пути. Самым главным было то, что наш барак был внутренним и охранялся чрезвычайно тщательно. Казалось, что бежать через прорезанную проволоку было невозможно.

В устройстве побега особенно деятельное участие приняли харьковцы—Бурдаков и Масловский. Тщательно разработали план, распределили роли. У пленных в соседнем бараке купили ножницы для резки колючей проволоки. И стали ждать.

Наконец, заскрипели возы, послышался бабий крик, детский плач, задымили костры и переносные печки: пришла огромная партия реэвакуируемых беженцев. Соседний с нашим двор наполнился народом и неизбежно внимание часовых к нашему двору ослабело.

К 8-ми часам вечера по обыкновению на двор вышел наш хорошо спевшийся украинский хор. На этот раз он превзошел себя. И немцы развесили уши.

А под шумок была ножницами проделана в проволоке дыра. Одна за другой из малого барака выскакивали темные фигуры, подкрадывались к оставленному без надзора пункту, ложились на брюхо и проползали, не обращая внимания на оставляемые колючками знаки на платье и теле. Мрак и толпа на беженецком дворе поглощали их.

В этот вечер немцы получили полное удовольствие. Наши певцы биссировали без конца. Бежало около 30 человек.

Часовые сменялись два или три раза. И только солдат, ставший на пост после 2-х часов ночи, обратил внимание на то, что проволока перерезана. На его выстрелы прибежал караул, примчалось начальство. Пошумели.

Утром выстроили и стали считать. Считали долго. Все по разному выходит. Явился и сам гауптман, главный комендант.

Набросился на старика ландштурмиста, поселенного в бараке специально для наблюдения за порядком.

Обругал и нашу публику:

— Russische Bande!

* * *

После этого побега пришла почему то немцам мысль пересортировать интернированных. Отделить чистых—bessere Leute от прочей братии.

Вывели из лагеря, привели к канцелярии и выстроили там.

Сам комендант стал определять принадлежность к той или другой категории.

Первым признаком являлся, конечно, костюм. Сколько нибудь не похожие на оборванцев без дальних разговоров становились в шеренгу „лучших людей".

Когда же по платью определить сразу не удавалось, начинали тянуть за язык.

— Что делал на родине? Какая профессия?

И следующий вопрос:

— За что попали сюда?

Баньщик бани Вонифатова в Харькове поругался с хозяином и по его доносу попал в Бялу. Обыкновенный простой себе баньщик, убежденный, что его профессия—самая лучшая в мире.

— Енаралам спину тер, веничком похлопывал! Помилуйте!

Вызывают его перед ясные очи капитана Гофмана.

Выходит и с профессиональной улыбочкой баньщика на добродушной физиономии ожидает вопросов.

Капитан благосклонно кивает ему в ответ на широкий взмах картузом. Переводчик допрашивает.

— Баньщик я, ваше высокоблагородие. В бане Вонифатова работал-с. Первоклассная баня, можно сказать на всю Расею, ваше высокоблагородие!—скороговорочкой высыпал он.

Тугой на понимание вообще, а русской речи в особенности, переводчик затрудняется определить профессию. Переспрашивает:

— Ви работал шиновник? Или кто?

— Так точно, и чиновников мыл-с, как наша должность такая.

Недоумение разрешено. И баньщик попал в категорию „лучших".

Один из забракованных интеллигентов стал возмущаться, ругать немцев, выделивших баньщика в интеллигенты, а его, интеллигента, хоть и не чиновника, отнесших к подонкам общества.

— Немец, брат, понимает, что наши бани первые в Харькове,—возразил ему баньщик.

* * *

Бяльская ссылка пятым бараком не ограничивалась. В том же лагере, но на другом конце его, возле кладбища, находился еще один барак, столь же набитый, как и наш, высланцами—Пересыльный барак № 2.

Это было такое же огромное деревянное здание, как и пятый барак. В нем раньше содержались штрафованные русские военно-пленные и потому он в большей мере напоминал тюрьму, чем наша „дача". Окна были забраны решетками, двери снабжены запорами. Режим в нем тоже был чисто тюремный: всегда на замке, парашка, грубое обращение и т. д.

В своем дневнике К. И. Ляхович (о нем в следующей главе), прибывший во второй барак 19 августа, рассказывает о жизни там:

„...Грязь, дым, шум, ругань... И кого, кого здесь только нет. И мальчики, и старики, и русские, и еврей (старик), и полтавцы, и черниговцы, и подольцы, и волынцы, и тавричане, и киевляне, и из Дона—со всего Юга. Рабочие, солдаты, крестьяне; интеллигентов очень мало. И все были арестованы „бог знает кем и за что". Большинству не только не пред'явлено никаких обвинений, но и допросов не делали".

„...Привели снова несколько партий—все больше крестьяне уманского уезда и Херсонской губернии. Что тут делалось! Барак полон. Дышать нечем. Что мы будем делать?!"

„...После трех часов утра начался шум и крик в бараке. Обе параши—на 417 человек, оказались переполнены и все полезли в единственное окно. Спор, крики, ругань..."

„...Первый раз в жизни дал взятку: дал 10 марок немцу, что стоит днем. Этакая старая свинья: прямо бьет людей по голове своей палкой. Сегодня он задержал двадцать человек, и меня в том числе, и оставил без хлеба: дескать, не достаточно рано встали... Выпускает два раза в день оправляться. Около уборной стоит беспрерывная очередь и почти всякий раз не все успевают оправиться, как он загоняет в барак. Беда!"

„...Опять поверка внутри ограды. Выстроили по четыре вокруг барака и около часу носили вдоль всей шеренги бочки из сортиров. Бочки переполнены. Льется через край Зловоние и мерзость. Издеваются".

После переговоров с комендантом Ляхович вместе с некоторыми другими товарищами, во внимание к их болезненному состоянию, были переведены в пристроечку к тому же бараку. В другой такой же пристройке жило несколько женщин. Стало несколько лучше жить. Но кошмарная жизнь барака протекала тут же, за тонкой перегородкой.

3-го сентября накануне отправки в Брест он пишет:

„Вчера часов в 11 был какой то шум. Как будто ловили вора. (Обычная история в общем бараке, где на почве голода непрерывно происходили кражи). А сегодня утром оказалось, что оттуда убежало несколько человек. Они взломали шаткие запоры, открыли дверь, перерезали со стороны ретирада проволоку и ушли. Часовые не заметили. Нас держали долго на поверке, опять проносили перед строем „церемониальным маршем" переполненные параши и опять целый час перекликали. Кричали и когда кто нибудь не достаточно быстро откликался или переходил в другую шеренгу, то и палкой били. Гнусно!"

Эти немногие отрывки достаточно ярко рисуют тот ад, каким был второй барак.

Брест-Литовская крепость

I. УКРАИНСКИЙ ЛАГЕРЬ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

II. ПОД ВЛАСТЬЮ ФЕЛЬДФЕБЕЛЯ

III. ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Брест-Литовская крепость

I

УКРАИНСКИЙ ЛАГЕРЬ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

В Бяльском лагере среди других новостей я узнал, что Вучетича отправили в Брест несколько дней тому назад.

К нам троим житомирянам опять присоединили дубенчанина Товстера и повели в главную лагерную комендантуру. Мы долго сидели там на земле у крыльца и чего-то ждали. С нами отправлялись еще три полтавца, до этого сидевшие в ужасных условиях во 2-м бараке. Это были К. И. Ляхович, социал-демократ, зять В. Г. Короленко, редактор газеты „Свободная Жизнь", два железнодорожника Мудрак и Скиба. Все трое гласные Полтавской Думы.

С Ляховичем мне пришлось уже столкнуться один раз в Киеве на партийной конференции в 1917 году и еще тогда, слушая его нервные, полные экспрессии речи, я определил его, как незаурядного человека. Месяцы, проведенные вместе в тяжелых условиях нашего Брестского пленения, наши дружеские беседы в долгие осенние вечера, укрепили это первое впечатление. Константин Иванович был несомненно большим человеком и по своему уму, и по темпераменту, и по своим знаниям... Но прежде всего он был просто хорошим человеком, сердечным и отзывчивым, резко реагировавшим на всякую несправедливость, на всякое зло. Он погиб весной 1921 г., заразившись в тюрьме сыпным тифом.

После долгого ожидания у комендантуры нам, наконец, предложили двинуться. На вокзале мы опять долго ожидали прихода поезда..

Наконец, мы в вагоне. В обратном направлении проделываем знакомый путь. Станции Шатилово, Тересполь и Брест-Литовск. Памятный полуразрушенный вокзал.

Наши конвоиры дороги не знают и долго наводят справки о том, как пройти в Ukrainerlager. По их лицам видно, что полной уверенности в правильности избранного, наконец, после долгих колебаний пути у них нет. Вагаж свой мы тащим на плечах. Особенно страдает от этого Лях ович, одетый в шубу на беличьем меху, с туго набитым мешком за плечами и с тюком в руках. По дороге какой-то немецкий солдат за небольшую мзду соглашается взять наши вещи к себе на подводу. Но у Северных Ворот (Nord Tor) он сворачивает в другую сторону и мы снова пыхтим и преем.

Дорога ведет мимо взорванных и обгорелых казарменных построек, густым красивым парком, еще слабо тронутым топором завоевателей.

После долгих блужданий мы попадаем на правильную дорогу. От времени до времени в этом лабиринте мощеных дорог встречаются новенькие сосновые дощечки с изображенным на них указующим перстом и надписью: Ukrainerlager. По мосту переходим широкий и глубокий канал, наполненный отведенной из Буга водой. А вот и сам Буг.

* * *

Сквозь густую листву забелелись частые высокие столбы. Подходим ближе. Колючая проволока затейливыми узорами паутиной встает перед нами. Пока наши сторожа хлопочут о том, чтобы нам был открыт доступ туда, мы стоим и восхищаемся.

Сколько труда и изобретательности потрачено на это отвратительное сооружение! Никакими ножницами, кажется но проделаешь тут лазейки, чтобы выбраться на волю. Мышь и та не проскочит, не оцарапавшись об острые колючки.

Нас впустили. Вот он—„Украинский лагерь“. Когда то это было предмостным укреплением. Успехи военной техники уже много лет назад сделали это укрепление негод-

ным для военных целей. Огромный вал, представляющий собою неправильный полукруг. И в этом валу под мощным слоем земли притаились низенькие, вросшие в землю своими массивными кирпичными стенами, казематы. Это—наша тюрьма.

Я опять попадаю в лагерь из-за решетчатых окон, из-за кирпичных стен, из ограниченного кругозора настоящей тюрьмы. И наше новое жилище мне определенно нравится. Еще идя по двору я чувствую, как во мне растет симпатия к этому чудесному валу, покрытому изумрудно-зеленой высокой травой с развесистым дуплистым деревом на нем, с высоким бруствером, на котором дружными рядами выстроились репейники, и смотрят вниз, туда, где за новыми заграждениями из проволоки, за рвами, наполненными водой, расстилаются поля и разбегаются вольные дороги. На огромном дворе тоже растут деревья и много травы. По середине двора маленькое здание кухни. Тут же, возле кухни, колодец с насосом, а над ним развернул свои густые ветви огромный вяз. Дальше, ближе к заграждениям, еще деревья.

Но мои взоры снова обращаются наверх, на вал. Меня заинтересовывают две надстроечки на нем, тоже покрытые зеленью. И уже в голове мелькает мысль: „Хорошо было бы поселиться там!“ Впоследствии в одном из этих блиндажей действительно жили люди: там был околодок. Квартировавшие до нас в укреплении немцы, расписавшие в некоторых казематах потолки и стены патриотическими военными картинами, на дверях одного из верхних блиндажей сантиментально написали Villa Elizabeth.

* * *

Нас принимают. Обыскивают довольно поверхностно. Выдают по миске, по ложке, по одеялу. А затем высыпавшие, как пчелы из потревоженного улья, товарищи вводят нас во владение нашими койками, знакомят с порядками, с нравами.

Много знакомых лиц, особенно среди крестьян, занимающих средние казематы. Некоторые из них уже по два месяца в Бресте. Истощенные голодом лица, исхудалые тела, изорвав-

шаяся одежда. Им здесь живется не сладко. Некоторые из интеллигентов производят тоже впечатление изголодавшихся людей.

Вучетич, в некотором роде старожил здесь, рассказывает, волнуясь и негодуя, о порядках. Его горячая черногорская кровь кипит... Слушая его рассказы, возмущаемся и мы...

Самое скверное, самое возмутительное, это то, что среди заключенных нет ладу. И дело не столько в отсутствии внутренней спайки, в неналаженности взаимных отношений, между самими заключенными. Это естественно и неизбежно при наличии столь пестрого состава интернированных, среди которых вы в социальном отношении проследите всю гамму оттенков от уголовного бродяги до министра и полковника... а в политическом—от ярого черносотенца до большевика и анархиста. Речь идет о том, что в отношении администрации не существует единства и сплоченности. Фельдфебель, толстая и грубая бестия, третирует, как илотов, одних и мирволит к другим.

— Дошло до того,—говорит Вучетич,—что в день своего рождения фельдфебель устроил пирушку, конечно, за счет предназначенных для всех заключенных продуктов. И в этом празднестве принимали участие даже такие люди, как Г. Г. напился пьяным и валялся, рыгая, как свинья, на дворе. Фельдфебель сам присутствует при раздаче пищи и любимцам дает лучшие кусочки...

Мы решили повести борьбу с такой гадостью и попытаться сплотить публику.

* * *

Долго ходим по лагерю, смотрим, знакомимся и наблюдаем.

Почему два отхожих места—одно возле проволочных заборов, а другое в укреплении?

Ответ был таков: одно—дневное, другое—ночное. После поверки нельзя отходить от помещений дальше как на пять-шесть шагов.

Я хочу подойти поближе к проволоке, чтобы изучить систему этих сплетений: меня интересуют внутренние, меж двумя параллельными рядами проволок, узоры. Немец, стоящий за заграждениями на посту, что-то орет и показывает на дощечку с надписью, прибитую на одном из столбов проволочного барьера, в десяти шагах от главных заграждений. Подхожу и читаю: „Стоит! четыре пленных“ (списано буквально).

Смотрю на надпись, смотрю на немца и теряюсь в догадках.

Кто-то из товарищей выводит меня из затруднения:

—Это значит в вольном переводе: пленным, т. е. нам, запрещается ближе, чем на четыре шага, подходить к барьеру.

Подобных надписей и столь же оригинально скомпонованных здесь несколько в разных пунктах этого барьера. Пространство между барьером и проволочными заграждениями является охраняемой зоной и проникновение в эту зону грозит уже не окриком только, но и пулей. В этом отношении немцы народ серьезный.

Прежде чем лезть на вал и снаружи и изнутри изучаю нашу обитель.

На крайних флангах расположены нежилые помещения. Слева, с запада отхожее место, карцер—гнилая мурья, с которой впоследствии некоторым из нас пришлось познакомиться. Справа, с востока, цейхгауз с забранными решеткой окнами.

Между ними ряд камер-казематов со сводчатым потолком, с толстенными стенами.

В распределении публики видна система. Две восточные камеры носят название „министерской“. Они имеют особый ход. Устроены со значительными удобствами. На склоне закругляющегося здесь вала устроено отдельное отхожее место. Колючий забор отделяет это привиллегированное жилище министра Парамонова, полковника Потехина и их ближайших друзей, а также и их денщиков, от остального лагеря. Чтобы „большевики“ и прочие вредные люди не надоедали знатным узникам и не тревожили их.

Так же на отлете с западной стороны находится „офицерская“ камера. Но она не отделена забором от нас. В „офицерской“ сидят ведь всякие звери. Это хотя и „благородный“, но все же зверинец, правильнее—зоологический сад, потому что на зверинец больше смахивают камеры, в которых живем мы,—интеллигенция и „чистая“ публика, а еще больше—камеры „простого“ народа. В наши камеры ход вправо из коридорчика, отделяющего „офицерскую“. Крестьянские камеры расположены в центре и непосредственного сообщения ни с правыми, ни с левыми камерами не имеют.

Все эти деления и перегородки, впрочем, чрезвычайно условны. Они имели бы значение и смысл только в том случае, если бы все эти группы были внутренне разобщены между собою. Этого как раз и не было. Национальные, политические, личные и всякие иные связи создавали потребность в постоянном общении между различными ячейками этого человеческого улья.

Элементы „офицерской“ камеры просачивались в камеры крестьянские, крестьянские элементы бывали на приемах у Парамонова и Потехина; „интеллигенция“ держала связь со всеми. Обычно эта связь поддерживалась наружным путем, на дворе, на валу, через наружные двери. Но в моменты, когда лагерь вступал на тропинку войны с немцами, когда нужно бывало скрыть от всевидящего ока фельдфебеля происходившие внутри переговоры и голосования, мы пользовались „внутренним сообщением“. В деревянных перегородках, отделяющих внутри группы друг от друга, были вынуты доски и устанавливалось свободное движение от „офицерской“ до „министерской“.

Внутренняя обстановка камер проста и однообразна. Простые столы и скамьи. На стенах прибиты некрашенные, грубо выстроганные шкафы с ящичками по числу предполагавшегося населения каждой камеры. Сначала никто их не запирал. Но когда воровство, преимущественно с'естного, стало повседневным явлением даже в наших камерах, пришлось приобретать замки. Спали мы в таких же двухэтажных ящиках, как и в бяльском лагере. Но

здесь эти ящики были парными—два внизу и два вверху. Этим экономилось пространство. В углу круглая железная печка. С потолка свисает тусклая электрическая лампа.

В „офицерской“ удобств больше. Спят господа офицеры на хороших кроватях с тюфяками, не очень тесно. Сидят они на табуретках. А в „министерской“ уже венские стулья, чуть ли не кресла, комод, хорошие столы, покрытые скатертями. Не жизнь, а масляница!

* * *

Вечер, до заката солнца, я провожу на валу. Как мальчик, бревном скатываюсь с отлогого склона. Диким индейцем ползу меж высокой травой на брустверь и залегши по ту сторону его, невидимый для часового, изучаю окрестности. Далеко на шоссе, в косых лучах солнца золотится, поднятая проезжей телегой, пыль. Шелестят листья вольных деревьев. Водяная курочка показалась среди поросшего осокой и широкими листьями кувшинки рва со свинцовой водой. Дальше вправо слышно кряканье чирков, выведшихся в этом раздолье водяных трав и нетерпеливо ждущих захода солнца, чтобы лететь попастись на полях. В глубине парка галдят грачи.

Вздыхаю и так же ползком пробираюсь назад.

На валу, от одного конца до другого, протоптана тропинка. Гуляю по ней, посматривая с высоты вала на двор, куда уже высыпала проголодавшаяся толпа с мисками в руках, с вожделением поглядывающая на кухню.

* * *

Появляется квадратная фигура фельдфебеля с жирной свисающей на воротник шеей. Спрятавшиеся в толстых щеках свиные глазки презрительно оглядывают этих голодающих, оборванных и грязных. Сытая откормленная скотина.

Властной рукой звонит он в колокол, висящий на крылечке кухни. И длинными вереницами, в затылок строятся камеры, обращаясь лицом к кухне.

Первой идет „офицерская“.

Плебс ворчит своим голодным нутром. Ворчим и мы, относительно сытые, но вечные сторонники равенства, демократии. Ворчим из принципа.

— Довольно этого! Что за привиллегии! Здесь все одинаковы. Камеры должны ходить по очереди.

Этого жратвенного равенства в отношении казенной пищи мы добиваемся в ближайшие дни. Офицерам перестают давать порциями мясо, жилистое, зеленоватое с голубыми отливами моржевое мясо, в отличие от остальных, как в лотерею выигрывающих редкие кусочки, плавающие в баках. Они суп получают такими же неполными литрами, как и мы. В порядке очереди им приходится ходить и первыми и последними за едой. Сегодня на ужин дали суп из каштановой муки. Вернее это вода с подболтанной в ней мукою. Что это за мука? Одни говорят каштановая, другие костяная. В корень этого разногласия я не вник. Моя любознательность не шла так далеко. Непосредственный опыт говорил, что это гадость, которую сами немцы, наверно, не едят. А если едят, то лишь из патриотизма. Но этого супа не ест, во всяком случае, фельдфебельский пудель.

После ужина снова звонок. На поверку.

Строимся по группам в две шеренги. Фельдфебель, с ним унтер-офицер, высокий с нафабренными усами, и ефрейтор—черный, неаккуратный, пьяноватый,—все они стоят на кухонном крыльце и наблюдают. Часовые из-за заграждения входят во-двор: после поверки кольцо надзора суживается.

Нас считают.

— Ар-рон!—раскатистым баритоном зовет фельдфебель.

— Ар-р-ро-он!—густо отражают валы, проволока и деревья.

На авансцену выходит из рядов Арон Медведь, обдергивая пиджак и по собачьи уставившись безбровыми глазами на фельдфебеля.

Плюгавая лакейская фигура. Без руки, беззубый и плешивый, с рыбьим взглядом, раскрытым ртом, скрипучим голосом. Точно моль его ела и мыши грызли, как старый заплесневелый сухарь.

Житомирская коммуна в Брест-Литовском лагере
(слева направо: Вучетич, Гольдфельд, Вороницын, Гриншпун, Кимешблат).

Когда то в Бяле он разыгрывал из себя крайнего принципиалиста. Но в самом начале высылок крестьян в Брест он почему то попал в одну из партий. И сделался... переводчиком.

Арон—переводчик! Мы хохотали до упада, услышав эту новость. Мы то ведь знали его способности быть „дольметчером". Он и в Бяле не раз пытался выдать немцам свой жаргон за немецкую речь. Но пожинал, увы, не лавры...

Здесь ему повезло. И Фома на безлюдьи человек.

И этот „переводчик" пришелся по душе фельдфебелю. Покладистый и угодливый, проявивший внезапно талант на всякую подлость, он стал правой рукой его. Он доносил обо всем, происходящем в лагере, покрикивал и командовал, получал лучшие кусочки, спал на мягкой постели, совершенно отдельно от прочей „банды" и даже занимался торговлей.

Впоследствии звезда его закатилась. Прибывший с нами Товстер оказался „переводчиком" несколькими градусами покрепче, сумел более дипломатично проводить начальственные предписания, оказался, словом, более импонирующим.

Отставив левую ногу назад, выпятив грудь, фельдфебель начал громовую речь.

— Письма писать по немецки, тогда будут доходить скоро. Ответы тоже должны писать по немецки. Разрешается писать два письма в месяц. Можно и четыре открытки. Нельзя подходить к проволокам. Нельзя показывать голову над валом. Нельзя.....

И пошел, и пошел...

Медведь моргал глазами и переминался на кривых ногах.

— Арон, переведи!

Арон зашепелявил какую то отсебятину.

— Он, господин фельдфебель... говорит, что... можно... нельзя... два письма по немецки и четыре шага от проволоки, чтобы головы не видно было. А на вал ходить нельзя, часовой будет стрелять. Все!

Мы зафыркали. Фельдфебель скосил на нас глаза, хотел что-то еще сказать, но потом раздумал. По мановению его руки наш строй рассыпался.

* * *

Много дней прошло прежде, чем мне удалось более или менее близко познакомиться со своими товарищами по заключению. Но несколько фигур бросилось в глаза с первой же встречи и сейчас как живые стоят передо мной.

Наибольший интерес, с точки зрения наблюдателя, представляла „офицерская". Я говорил уже, что это был настоящий зверинец. На перо мое напрашивается теперь другое сравнение. Она, эта камера, была похожа, скорее, на ту клетку, какую в былое время по улицам наших городов ранними утрами возила заморенная кляча. Из клетки раздавался визг и лай, порой сердитое рычанье. Карета гицеля! Роль „гицеля", городского чистильного мастера, ловившего бродячих собак, а порою прихватывавшего и благородных породистых псов, не имевших почему либо номерка на ошейнике, в этом сравнении играет, конечно, собирательный немец. И действительно, та публика, которая населяла офицерскую камеру, по пестроте своего состава и по разнообразию своих мастей представляла настоящий человеческий сколок с собачьей клетки. Благородными псами тут были старые революционеры, независимо от партий, служившие в царской армии на командных должностях, а потом честно участвовавшие в революции. Бродячими паршивыми шавками были „примазавшиеся" всех сортов, вроде гетманских посипаков, авантюристов блакитно-желтой масти и пр. Щеголеватый и чистенький польский легионер поручик Грабский жил там рядом с оборванным, босым большевиком Ильченко, по прозвищу Сашка-Семинарист, тоже поручиком, но потерявшим свой воинственный облик и офицерский лоск в вечной борьбе за наполнение желудка. Старый социал-демократ Вучетич, сосланный за политическое выступление в день 1-го мая, имел койку бок-о бок с „гайдамаком", носившим шапку с красной „китицей", попавшим в ссылку за оскорбление „по пьяной лавочке" чести немецкого мундира. Командир большевистского кавалерийского отряда Гусаков, уже немолодой офицер, не мог не сталкиваться с добровольческим офицером, носившим медаль в память 300-летия

дома Романовых и погоны и в симпатически настроенной компании любившим рассказывать, какой занимательный звук издает большевистское горло в момент, когда его сдавливает петля виселицы.

Широкими желтыми лампасами на запорожских штанах щеголял наш „великий до неба“ верзила Мордалевич, тот самый Мордалевич, что прославился впоследствии на Правобережьи, да и по всей Украине, кровавыми бандитскими и погромными подвигами...

В те дни Мордалевич был заметен только своей высотой и рисовальными способностями. С усердием разрисовывал он углем стены „офицерской“. Огромный портрет Хмельницкого, Шевченко и грудастая муза с каким-то факелом в руке были памятниками этого „буколического“ периода его жизни. Кто бы мог подумать тогда, глядя на этого юношу, под желтыми лампасами прятавшего свой семинаризм, что он воздвигнет себе иной памятник—нерукотворный.

В той же компании жил и анархист Новиков из Екатеринослава—одна из самых интересных и оригинальных фигур нашего лагеря. Мы звали его бразильцем за его бесконечные, но всегда интересные рассказы о Бразилии, в которую он эмигрировал, спасаясь от преследований реакции после 1905 года, и которую он полюбил, как свою вторую родину. В немецком плену он тосковал по ней и мечтал о том, как вернется туда, вырвавшись из об'ятий заманившей его воскресшими порывами молодости революции.

И чтобы покончить с „офицерской“ достойным аккордом, вот еще один—полковник Бельмонт.

Кто он? Иностранец. Что он? Наемник.

Я не знаю, в какой армии служил он перед тем, как поступить на службу к его светлости ясновельможному пану Скоропадскому. Но его седые усы, профиль хищной птицы и военная выправка, отличающая людей, смолоду занимавшихся ремеслом преторианца, говорили, что бутафорствовать он стал недавно.

Как он попал в Россию? Его противоречивым и сбивчивым рассказам я не верю. Я не раз ловил его на лжи. Я думаю, что он прибыл к нам „на ловлю счастья и чинов“

с одной из тех шаек авантюристов, которые возглавлялись всякими Энно.

Мне всегда хотелось приклеить к нему ярлык француза, хотя он утверждал, что он по национальности датчанин. Впрочем, кому-то он говорил, что он бельгиец. А немецкие солдаты подозревали в нем англичанина.

По русски он говорил скверно, ужасно. По немецки—хорошо. По французски—прекрасно.

Я как-то спросил его, не был ли он в Алжире и не приходилось ли ему драться с арабами. Он нахмурил седые брови, а глаза стали колючими-колючими.

— Non, monsieur!.. — резко ответил он, точно проколол шпагой.

А Вучетич, служивший в „иностранном легионе", клялся и божился, что он встречал там таких типов.

Он и в Бресте продолжал носить на фуражке украинскую кокарду--гетманскую.

— Моя жена — украинка, — говорил он, когда удивлялись тому, что он связался с гетманом и немцами.

Свою ссылку он об'яснял интригами недоброжелателей. Но фельдфебель сказал кому то, что он выслан за шпионаж в пользу Антанты. И полагая, что навший шпион Антанты на той же роли может быть полезен ему, немецкому тюремщику, он часто отводил в сторону Бельмонта и вел с ним долгие беседы. Конечно, разговор шел в этих случаях не о преимуществах полковничьего чина в гетманской армии по сравнению с высоким званием фельдфебеля в армии Вильгельма.

Чем ниже спускаешься от офицерской публики, тем меньше становится интересных, „махровых" типов.

Быть может, если бы эти заметки писал Парамонов или один из сторонников блакитно-желтой или трехцветной ориентации, он в качестве „интересных" типов изобразил бы как раз тех, которые, с моей точки зрения, описанию не подлежат. Это--люди, которые при всяком авторитарном режиме очутятся в тюрьме или в ссылке, к которым название „политического" (ссыльного, заключенного, изгнанника) идет, как коню седло, и которые во всякой обстановке поли-

тического мученичества ведут себя более или менее так, как это диктуется положением. Поэтому я даже не перечисляю их имен здесь. Они были сконцентрированы преимущественно в наших камерах, образуя в них компактное большинство, довольно легко поддающееся организации и способное поэтому в острый момент нашей жизни играть руководящую роль.

* * *

В наших камерах осаживалась совершенно естественно партийная публика, независимо от социального положения. Были люди партийные или сочувствующие той или другой политической партии и в других камерах: в „офицерской“ и в камерах, заселенных крестьянами, солдатами и элементами, которых иначе, как деклассированными, назвать нельзя. Переселиться всем им к нам не было возможности уже по одному тому, что они просто в них не поместились бы. Но при расселении огромную роль играл и произвол фельдфебеля.

Так, получив взятку от фабриканта колбас из Дубно Цибульского, он упорно хотел держать его в наших камерах. Мы же этого типа всеми мерами выживали. И в конце концов, не без борьбы и, кажется, не без апелляции к невидимке-коменданту, выжили.

Выжили мы и Арона Медведя, „дольметчера“.

С другой стороны, „бразильцу“ Новикову тоже не без борьбы удалось вырваться к нам из удушливой атмосферы „офицерской“.

Перебирая в памяти сидевшую в наших камерах публику, мне теперь очень трудно восстановить те мотивы, по которым мы терпели у себя одних и „выживали“ и вселяли других.

Чем лучше был один из гайдамаков начальника какой то уездной стражи?

А между тем гайдамак, стыдливо сбросивший, правда, с головы свою шапку с „китицею“ и чуть ли не пустивший ее в лотерею, пользовался всеми правами гражданства, в то время как безобидный по существу начальник стражи подвергнут был остракизму.

Не по политическим мотивам, конечно, и, разумеется, не по платью.

Политические соображения силою вещей были в этих вопросах исключены. Слишком много политических группировок, часто остро враждебных, в связи с переживавшимся тогда Россией кризисом, было у нас, чтобы при допущении хоть какого-нибудь проявления борьбы между ними, мы могли рассчитывать на существование общего фронта по отношению к немецким тюремщикам.

Вопрос внешности, костюма, физической чистоты тоже не играл роли. Переселившийся к нам большевик Ильченко был оборванцем из оборванцев. А тот же самый колбасник Цибульский имел всегда в кармане деньги и носил крепкие сапоги.

Повидимому, мотивы этого странного явления коренились в чем то, сейчас не учитываемом, но несомненно связанном с условиями нашей тамошней жизни. Какой-то не поддающийся анализу изгиб психологии толпы. Некоторую роль,—но только некоторую, — играло отношение к немцам-завоевателям вообще. Цибульский в ссылку попал за то, что, раздавая направо и налево взятки немецким властям, наткнулся на такого коменданта, который не только не принял поднесенных ему окороков, колбас и сосисок, но и не пожелал терпеть в своей сатрапии их производителя. Честный немец? Цибульский, лиходавец по принципу, утверждал, что конкурент его дал больше и вдобавок оказался немецкого происхождения. Но вообще к немцам относился он со свойственной торгашам космополитической беспринципностью.

Повидимому, такую же беспринципность, но уже не торгашескую, а полицейскую, проявил и начальник стражи.

Появление его у нас было сенсационным. Лагерь покатился от хохота, когда эта фигура показалась на горизонте. Достойный сюжет для кинематографической фильмы.

Молодой человек, одетый с иголочки. Бальный костюм. На ногах какие-то воздушные туфельки. Белые чулки. Без шапки, но с холеной шевелюрой. И белые перчатки. А в руке стек. Он не успел еще загрязниться и обтрепаться

в дороге. Немецкий поезд доставил его в несколько часов. А в поезд он, действительно, попал прямо с бала.

Такой „политический“ ссыльный, понятно, не мог в нас вызвать сочувствия, даже если бы он и не был начальником стражи.

Не трудно представить себе, в каком виде, уже зимой, возвращался он из неожиданного плена. Он пробыл несколько месяцев в Бресте без денег, без белья и иной одежды кроме той, в которой „средь шумного бала“ разыгрывал из себя уездного льва.

* * *

„Народ“ в Брест Литовске был тот же, что и в Бяле. В огромной массе это были крестьяне. Среди них были вкраплены солдаты бывшей царской армии, еще не обкрестьянившиеся. В меньшинстве были неопределенные типы, нарождающиеся уголовные бандиты, тюремная шпана и несколько несомненных героев каторги с громким, но тут тщательно скрываемым прошлым. Сознательного политически элемента среди крестьян было до обидного мало. Интереса к иным вопросам, кроме вопроса о хлебе насущном, почти не было. Но это и понятно при том голодном пайке, на каком нас держали немцы.

II

ПОД ВЛАСТЬЮ ФЕЛЬДФЕБЕЛЯ

Там, где много людей живет в неволе и где эта неволя так не сладка, как в Брест-Литовске, „волынка“ неизбежна.

И у нас „волынка“ началась чуть ли не на другой же день после нашего приезда.

Виновником ее, понятно, был фельдфебель.

Этот наглый солдафон усердно подыскивал всякие предлоги, чтобы ущемить нас. Из отпускавшихся нам на варку пищи продуктов он безбожно крал и считал в то же время страшным оскорблением для себя наше вполне законное желание иметь на кухне своего наблюдающего.

— Я ношу немецкий мундир и потому вы обязаны доверять мне!—гордо заявлял он.

Но он считал вполне совместимым с честью немецкого мундира торговать по спекулятивным ценам салом, картофелем, водкой и вином. Он стал давать „домашние обеды" для тех из интернированных, у которых водились деньжонки, причем обеды эти готовились из тех же продуктов, что по казенной раскладке отпускались на всех. Он занимался ростовщичеством, брал в заклад вещи, менял русские деньги на немецкие и т. д.

И вдобавок он вздумал вводить „дисциплину".

Утром 6-го, выстроив нас на поверку и пересчитав, он не распустил нас сразу же.

— Ар-рон!—крикнул он.

Арон уже чутьем знал, что предстоит „функционировать" и в миг вылетел из рядов.

Фельдфебель посмотрел на него, посмотрел на нас, посмотрел зачем-то на свои ярко начищенные сапоги, внушительно кашлянул и зарокотал медленно и зычно:

— Арон, переведи им. Интернированные не ведут себя так, как им подобает. Пишут лишние бумаги, беспокоят начальство. С этого времени всякие заявления приниматься не будут. Прежде чем писать, должны спрашивать меня и я буду говорить, можно или не позволяется писать.

Арон переводит. Мы, понимающие немецкий язык, вносим поправки. Фельдфебель сердится, покрикивает. Когда, наконец, публика уразумела суть нового распоряжения, слышится ропот, негодующие возгласы.

— Молчать!—орет фельдфебель и хватается рукой за револьвер.

Молчание водворяется мгновенно.

Он продолжает:

— Я замечаю, что интернированные не подчиняются моим распоряжениям. Выходят на вал, подходят близко к проволокам. Это строго запрещено. Предупреждаю,— в последний раз!—что часовой будет стрелять по непослушным. Арон!

Арон опять переводит долго и нудно.

Мы ждем, что сейчас нас распустят; некоторые уже делают движение к выходу из шеренги. Но повелительный жест фельдфебельской руки возвращает их обратно.

Он как то особенно выпячивает грудь и набирает в легкие воздуху. По роже его видно, что он готовится сказать что-то особенное, очень ему приятное.

— Арон! Слушай внимательно и переведи правильно!— Он откашливается. — С сегодняшнего дня я приказываю больше не лежать днем на койках. Утром после кофе никто не может ложиться.

И он делает широкий жест, охватывающий длинные ряды, начиная с нашей группы. Ясно видно, что на офицеров это распоряжение не распространяется.

— Что касается господ офицеров,—продолжает он после короткой передышки,—то им, во внимание к их воинскому званию, я разрешаю ложиться после обеда и лежать три часа.

Арон опять переводит. И пока он медленно и с расстановками „дольметчит", фельдфебель самодовольно расхаживает перед нами.

Некоторые окружают его, задают ему вопросы, пытаются оспаривать его распоряжения, но большинство молча идет в камеры или расползается по двору.

* * *

На всех речь фельдфебеля произвела сильное впечатление. Его нелепые распоряжения вызывают сильное возмущение.

Начинается брожение.

В результате этого брожения созревает мысль об общем протесте.

Но к вечеру еще ничего не решено.

В течение дня несколько раз появляется фельдфебель. Он уже поставлен в известность о происходящем. И, повидимому, от удовольствия напивается пьяным. Ночью он неизвестно с какой целью палит под нашими окнами из револьвера. Хочет запугать, что ли.

После ночных похождений он очень долго спал. Утром не пришел, продуктов на кухню не выдал. На обед нам сварили капусту в воде. Капуста притом была превонючая.

Все это вместе взятое—и вчерашнее приказание, и ночная стрельба, и отвратительный обед, вывело из себя даже самых смирных, самых покорных. Было решено вызвать невидимку-коменданта и ему пред'явить ряд требований. В случае неисполнения этих требований решено об'явить голодовку.

На это решение, как на серьезное, мы не смотрели. Мы знали, что при этом составе лагерной публики такие меры протеста и воздействия на администрацию, как голодовка, неосуществимы. Но все же попытаться мы считали необходимым. В крайнем случае, решили мы, будем голодать только своей компанией.

Когда шесть наших делегатов—по одному от камеры, без „министерской"—подошли к фельдфебелю, он, видимо, струхнул.

— Для чего вам нужен лейтенант? О чем вы хотите с ним говорить?

— А это уж наше дело, Herr Feldwebel!

Он помялся. На лице его была написана несомненная растерянность. После короткого размышления он, однако, оправился.

— Я для вас лейтенант! Я для вас комендант! Разойтись сейчас же.

Наши делегаты попытались урезонить его, но в ответ раздался такой бешеный рев, что они за благо сочли разойтись по камерам.

А в камерах,—во всех, вплоть до „министерской",—решено было в знак протеста не принимать обеда.

Раздался звонок к обеду. Ни одна собака не вышла. Даже те, кто случайно в этот момент находились во дворе, поспешили укрыться.

Фельдфебель не ожидал, конечно, чтобы все эти голодные люди могли даже от вонючей капусты отказаться. И мы, глядя в окна, видели, с каким ожиданием смотрел он на двери камер. Затем он выпустил веревку звонка, что то

закричал в нашем направлении. Что нибудь в роде: „ах, так вы вот как?! Ну, погодите!“ Решительным движением выхватил револьвер из кобуры и выстрелил вверх.

Во двор бегом вбежали солдаты из караульного помещения, находившегося тоже в одном из укреплений неподалеку от нашего. Фельдфебель их расставляет перед нашими помещениями и снова подходит к звонку и звонит.

Мы понимаем, что зовет нас на этот раз он уже не за обедом, и выходим. Молча и быстро строимся. Он кричит, чтобы мы все зашли в камеры и не смели выходить на двор. Караулу он приказал стрелять по всякому выходящему. Мы так же молча возвращаемся во свояси. Часовые расставлены во дворе.

Прошло пол-часа. Снова появляется фельдфебель. Заходит в некоторые камеры и по своему выбору забирает несколько человек в качестве представителей. К нам он не заходил и от нас представителя не взял.

Представителей он водил к лейтенанту. Тот расспрашивал их, в чем дело, из-за чего бунт. Наобещал им многое, обещал придти завтра, а сегодня предложил взять пищу. Этим, мол, вы докажете, что не бунтуете.

На ужин фельдфебель опять пришел. Сам делил хлеб и маргарин, все приготовил для раздачи, но позвонить велел повару. Когда опять на звонок никто не вышел, он с видом прибитой собаки ушел со двора и на поверку уже не явился. Убрал и караул.

Он так же, как и мы, не ожидал, что будет такое полное единодушие. Растерялся, видно, и уже считал себя побитым.

Мы же чувствовали, что наш успех не прочен. В камерах уже начались разговоры о том, что в сущности мы своего добились, фельдфебеля осадили, а лейтенант, мол, теперь и без голодовки придет. Наоборот, говорили некоторые, если мы будем продолжать отказываться от пищи, лейтенант не придет просто из-за немецкого упрямства. Среди крестьян уже произошел раскол. За принятие пищи, правда, еще меньшинство, но завтра, когда живот подведет,

это меньшинство превратится в большинство. С нашей стороны в тех камерах ведется сильная агитация.

Наступило утро второго дня. Звонок на кофе. Никто опять не вышел. Звонок на поверку. Все на своих местах.

Фельдфебель опять держит речь. Нет уже прежнего задора и раскаты его голоса звучат уже не так зычно. Все-же чувствуется в нем некоторая решительность. Он ставит последнюю ставку и имеет надежду, что она не будет бита.

— Я вас предупреждаю,— говорит он,—что если не возьмете вчерашний и сегодняшний хлеб и пищу, то все будет отдано немецким солдатам. Завтра вы ничего этого уже не получите.

Арон переводит. Фельдфебель внимательно следит за лицами. Лица равнодушны даже у самых голодных, даже у тех, которые только и говорят о том, как они возьмут весь накопившийся за голодовку хлеб, намажут маргарином и сразу с'едят.

Великое дело толпа, коллектив! По одиночке многие не выдержали бы.

— Вы можете голодать сколько вам влезет, мы на это внимания не обращаем. Наше дело готовить вам пищу и предлагать ее. Хотите брать—берите, не хотите—не надо. Лейтенант не придет!—закончил он.

После поверки наши делегаты устроили короткое совещание. Было постановлено повторить заявление о голодовке до прихода лейтенанта и переговоров с ним.

Выслушав это заявление, фельдфебель упрямо повторил:

— Лейтенант не придет! Можете голодать!

И ушел из лагеря.

Но не прошло и пяти минут после его ухода, как по камерам точно электрическая искра пронеслась весть:

Фельдфебель, прячась за деревьями, вернулся и сейчас лежит в кустах возле „министерской“.

И действительно, в кустах серела фигура, лежавшая на животе. Мерзавец пришел делать наблюдения за нами. В душе его таилась искра надежды на то, что, может быть, мы и одумаемся.

Но мы не сдумались. Вид лежащего на брюхе фельдфебеля подбодрил уже унывших. И когда он, наконец, встал, видя себя обнаруженным, и сконфуженно пошел прочь, в наших группах послышался смех и шутки.

Но мы стояли уже на пороге раскола. Если бы часа через два не пришел лейтенант, то за обедом вышла бы значительная группа заключенных.

Лейтенант пришел. Переговоры с ним от имени всего лагеря вел Ляхович, согласившийся на этот раз забыть про свои нелады с немецким языком и довольно удачно сумевший обойтись без Арона.

Лейтенант внимательно выслушал его и по пунктам стал отвечать.

Обращение будет вежливое.

На кухню будет пускаться наш дежурный.

Переписка и получение посылок будут по возможности урегулированы. Он войдет по этому поводу в переговоры с соответствующими инстанциями.

То же и относительно выдачи теплой одежды и обуви. Это не от него зависит.

Письменная инструкция, устраняющая произвол фельдфебеля, будет вывешена.

Медицинская помощь будет оказываться.

В баню нас поведут в самом непродолжительном времени.

Газеты ежедневно будут даваться.

Кантина (лавочка) тоже будет устроена.

Белье нам будут стирать в гарнизонной прачешной.

Дрова для топки печей и варки картофеля будут выдаваться.

Подобный успех в достижении удовлетворения наших требований превзошел все ожидания. Правда, особенного мы ничего и не требовали. Но настолько уже мы были неизбалованы, что перечисленная выше группа элементарных благ казалась нам верхом благополучия.

Наша делегация выразила лейтенанту свое полное удовлетворение и высказала пожелание, чтобы и впредь мы имели возможность, обходя фельдфебеля, непосредственно иметь сношения с ним.

Лейтенант и на это согласился и даже назначил дни посещения им нашего лагеря.

— Я очень занят, господа,—сказал он,—кроме вас у меня есть польские интернированные *), русские военнопленные, тюрьма. Но все-таки я обещаю не забывать вас.

После этого мы сами дали звонок и делегеция об'явила собравшемуся лагерю о победе над фельдфебелем. Торжество было неописуемое.

При раздаче обеда фельдфебель не присутствовал. Поели в этот день с удовольствием все, ибо все были одинаково голодны. Бодрое и веселое настроение царило весь день. Были произведены выборы камерных старост и дежурных на кухню. А вечером долго гремели песни.

После обеда, фельдфебель прошел в „офицерскую", принес газеты и пиво и долго распинался о своей любви к нам.

„Ненастоящий человек", как записал в своем дневнике Ляхович, рассказывая историю нашей „голодовки".

Надо отдать справедливость лейтенанту: большую часть своих обещаний он сдержал. Т.-е. он отдал приказ фельдфебелю осуществить их. Но вполне понятно, после всего сказанного, что фельдфебель делал все, чтобы урезать эти наши права.

Началась мелочная повседневная борьба, все перепетии которой давно уже стерлись в памяти.

На этом смутном фоне туманных образов, отрывков слов, мелких стычек, выходов за кофе, обедом, ужином, на поверку,—громоздится эта яркая фигура шкодливого лавочника довоенного времени, превратившегося в тылового вояку, царя и бога над сотнями беспомощных, безоружных, в большинстве по-бараньи покорных людей.

* * *

Наступило роскошное бабье лето. Солнце светило с безоблачного неба. Холодные росистые утра сменялись теплыми днями. Табунилась птица и скоро их бодрые полки с призывными криками стали отлетать на теплый юг. А по

*) В одном из фортов в то время сидело очень много польских легионеров.

вечерам задорное „кри-кри“ сверчков назойливо напоминало о приближающихся холодах.

Мы пользовались во всю этими переходными днями.

Бывало, только просохнет трава на валу, на верх одна за другой ползут фигуры узников. У каждого есть свое излюбленное местечко в густой траве. Обнажаются худые тела и бледная кожа вбирает часами в себя живительный солнечный свет. Благотворно действовали эти солнечные ванны на нервы, эта возможность уединяться среди природы разряжала накопившееся от праздности, от вынужденности совместной жизни напряжение. Реже стали ссоры, при встречах улыбки чаще появлялись на лицах и вместо язвительных колкостей слышались простые товарищеские слова.

Грядущая зима в эти ясные дни не пугала. Бодро смотрелось навстречу холоду и мраку. Шли разговоры о более усиленных кружковых занятиях, распределялись „кафедры“.

А немцы, как нарочно, вздумали строить на дворе два огромные барака. Привезли массу бревен, сколотили остов и... остановились. А фельдфебель ходил и показывал:

— Вот эта большая комната будет столовой для всего лагеря. Здесь вот будет у вас читальня, а тут мы устроим библиотеку. Маленькие комнаты мы будем давать образованным людям, чтобы они могли здесь „штудировать“.

У нас и слюнки текли от этих посулов. Мы мечтали, фантазировали.

„Бабье лето“ стояло долго, но все же оно минуло.

Под моросящим дождем среди падающих листьев на тухнущих кострах мы варили себе пищу в дополнение казенной, кипятили чай.

И целые дни проводили в своих казармах.

* * *

Связи с родиной не было. Письма ни к нам, ни от нас не доходили, а возможности нелегальной переписки исчезли.

Двух или трех счастливцев освободили. Но при освобождении им заявлялось, что они будут подвергнуты самому

тщательному обыску и если у них найдут просто даже адрес, записанный на бумажке,—это будет иметь для них роковые последствия.

Перед моими глазами лежит мелко исписанный лист почтовой бумаги, помеченный 5 октября. Это единственное письмо, которое удалось мне послать из Бреста жене. Оно и сейчас еще хранит следы бесчисленных складок и долгой прессовки в... подборе одного из дырявых сапог Корндорфа.

Я и сейчас не могу без волнения смотреть на этот клочек бумаги, читать, с лупой в руке, его содержание.

Передо мной живо встает воспоминание о тех надеждах, которые мы возлагали на это письмо. Это был наш протест и крик о помощи, обращенный к революционной общественности родины.

Корндорф, у которого истекал срок заключения, долго вертелся перед нашим кружком, показывая одну за другой части своего одеяния. Где спрятать это письмо так, чтобы оно не было обнаружено при обыске? Котелок, побуревший от непогоды, давно потерял свою подкладку. Пальтишко подбито ветром и немец на свет в нем увидит этот маленький пакетик. Сапоги?

— Вывалится!—уныло говорит Корндорф, с сокрушением глядя на их просящие каши пасти.

И все-же мы остановились на сапогах.

* * *

Но Корндорфа не выпускали неделю, другую... Надежды угасали. Готовится дерзкий побег. Один из рискующих жизнью берет письмо:

— Или погибнет со мною, или дойдет!

Оно дошло, но с каким опозданием.

Вот некоторые отрывки из него, рисующие наше положение в начале октября:

... „Мы здесь, как в могиле. Кроме стражи никого никогда не видно. Даже священника не допускают, даже раввина. И редко кому удается добиться, чтобы его отвели к зубному врачу (военному). Самых серьезных больных не берут в больницу...

... „Писем нет. Деньги в последний раз мы получили еще в августе. Натурально, что все вышли и мы сейчас стоим буквально на пороге бедствия.

„Как нас кормят? Хлеба выдают около $^3/_4$ (менее) фунта на день. Утром дают кружку так называемого „кофе", которое и приблизительно не напоминает кофе. Это какой то настой из каких то листьев, не заключающий в себе ровно ничего питательного. В обед дают похлебку—менее литра на человека. Нам говорят, что она готовится с мясом и картофелем. Но мяса мы там находим—и то в редких случаях—только отдаленные признаки. Картошка часто совсем не попадает в миску, а когда попадает, то в очень микроскопических количествах. Остальное состоит из воды, сушеной брюквы или капусты, тоже в весьма малых количествах. Больше на обед ничего не дают. Во вкусовом отношении этот обед—сплошная гнусность, его могут есть только в конец изголодавшиеся и потерявшие всякое чувство брезгливости люди.

"... Тот, кто не имеет собственных денег или вещей для продажи, обречен на медленное умирание. Недели две назад уже было зарегистрировано более 30 человек цынготных.

"... Кантины (лавочки) в лагере нет, хотя устроить ее обещано давно, а в город за покупками не пускают. Фельдфебель привозит по временам хлеб, сало, махорку и продает по ценам, сильно превосходящим рыночные. Но все это он привозит редко и в количествах недостаточных. За то спиртные напитки продает он с удовольствием, и благоволением его пользуются те, кто подобные „продукты" покупает. Мы никак не можем добиться доставки нам картофеля, который мог бы служить огромным подспорьем для всех неимущих и малоимущих.

"... Про грубое и некультурное обращение не приходится и говорить. Здесь это в порядке вещей. От нас требуется, чтобы мы с фельдфебелем говорили держа руки по швам, чтобы при его проходе все стояли и т. д. без конца. Часто без всякого повода угрожают применением вооруженной силы, вызывают караул и бывали выстрелы в воздух...

"... Дальше о фельдфебеле. Он умышленно стремится вызвать в нашей среде разложение, вводя институт любимцев, поощряя шпионаж, а среда у нас предрасположена ко всему этому. Истинно политических здесь очень мало. Большая часть интернированных—элемент случайный, часто даже уголовно-неблагонадежный. Какое нибудь систематическое сопротивление невозможно. Но этого мало. Он упорно разбивает всякие естественно-создавшиеся группировки—по признаку единомышленности, землячества и т. д. Нас пятерых он раскидал по трем разным комнатам. Нам запрещено собираться в какой-нибудь из комнат в количестве, превышающем население этой комнаты...

"... Я мог бы многое еще написать обо всем, что здесь происходит, но и этого достаточно. Среди нас бродят живые тени. Люди оборванные, босые, изголодавшиеся... Бывали случаи обмороков от истощения..."

Этих немногих отрывков достаточно, чтобы обрисовать наше положение в тот момент и дополнить уже данное мною выше описание нашей лагерной жизни.

* * *

Зарождается мысль о побеге. Я ошибаюсь: мысль эта всегда присуща всякому узнику. Она обостряется, она воплощается в дело. На этой почве создаются планы один другого нелепей, предпринимаются шаги, вызывающие сейчас улыбку своей детскостью.

Для организации побега образуются группы, пестрые по своему составу, об'единенные единством плана, способом осуществления.

Наша группа долгое время носилась с мыслью открыть подземный ход, который соединяет предмостные укрепления с фортами и с центром крепости. Производились измерения стен, валов.

Каждый из нас по одиночке и все мы вместе вели долгие беседы с одним из обитателей крестьянских камер, когда то давно служившим на действительной службе в Брест-Литовской крепости и спускавшимся в этот подземный ход. Он плохо помнил, где расположен выход, и мы всяческими

наводящими вопросами пытались придти на помощь его отупевшей памяти.

В конце концов мы установили, что в стене одного из карцеров имеется замурованная дверь, открывающая, несомненно, доступ в этот ход.

На этом и кончились наши изыскания. Проникнуть в карцер можно было подкопом только, но при существовавшем среди нас взаимном недоверии нельзя было приняться за такое дело. Этот план был отложен до тех пор, пока не уберут от нас фельдфебельских шпионов.

Самый естественный и самый заманчивый путь к свободе лежал через проволоки. Как ни сложны были колючие сплетения, хорошие военные ножницы для резки проволочных заграждений с ними справились бы. Но где достать эти ножницы?

Нам достать их не удавалось, несмотря на все попытки.

Другой группе их удалось достать. Эта группа состояла из шт.-капитана Дьякончука, поручика Грабовского и двух большевиков Рейниша и Туркина.

Это был союз разнородных элементов. Они решили вместе резать проволоку и разойтись парами в разные стороны с того момента, как это препятствие будет преодолено. Офицеры решили сразу же стремиться создать возможно большее расстояние между собой и преследователями, вторая пара более благоразумно предпочла искать убежища в Брест-Литовске, укрыться, переждать и затем с помощию местных людей выбраться дальше.

* * *

Я уже говорил о том, как тщательно охранялся наш лагерь. При этих условиях побег был трудным и рискованным делом. Он мог быть осуществлен только в темную и ненастную ночь.

Дьякончук, живший в „министерской“, в течение нескольких ночей занимался рекогносцировкой. Пробираясь через первый проволочный барьер к главным заграждениям, он исследовал их шаг за шагом. Нужно было найти место наиболее удаленное от часовых и наиболее благоприятное,

в отношении наибольшего прикрытия бегущих неровностями почвы, кустами, деревьями.

Самые эти рекогносцировки были связаны с немалыми опасностями. Часовые, на ночь входившие в огороженное проволокой пространство лагеря и занимавшие посты шагах в 8—10 от наших помещений, имели приказ стрелять во всякого, кто отойдет от этих помещений. Фельдфебель со своим белым пуделем, унтер и ефрейтор каждую ночь по несколько раз проверяли посты.

Один раз собака фельдфебеля почуяла Дьякончука, ползавшего по склону западного вала и притаившегося в кустах. Она залаяла. Фельдфебель—он был страшным трусом—вместо того, чтобы подойти поближе и вместе с собакой обследовать кусты, выстрелил. Собака испугалась и убежала. А когда на выстрел сбежался с факелами караул, Дьякончука и след простыл.

Место для побега было выбрано очень удачно. Это была как раз середина проволочного забора между двумя воротами, за кухней. Огромный вяз бросал туда густую тень. В нескольких шагах, по ту сторону проволоки, начиналась чаща мелких деревьев и кустов.

Погода стояла сырая. Густой туман с вечера подымался с земли. Часовые ежились и прятались в будках. Электрические фонари светили тускло и бессильно.

Всю ночь беглецы выжидали удобного момента. И только под утро, перед самым рассветом удалось им проскользнуть мимо часовых.

В кровь исцарапали руки, вырезая в тугих проволоках достаточную дыру, чтобы могло пролезть и не застрять тело. Долго возились. Уже засерело небо, когда четвертый, весь исцарапанный, вылез. Изодрали одежду и кожу.

Скрыть предприятие от своих не удалось. Многие завистливыми глазами караулили, следили за ними. Не удержались от соблазна. Скользнул один волонтер, другой... Не хватило духу, вернулись назад. Уже светало. Полез Мордалевич, сверкая желтыми лампасами запорожских штанов. И застрял в колючках: ни взад, ни вперед. Сердце упало, обессилел. Часовой увидал и выстрелил. Промахнулся. Мордалевич

вырвался из проволоки и в несколько прыжков длинных ног очутился дома и, как страус, стал чинить изорванное.

Караул сбежался на выстрелы. Фельдфебель первым делом—уличать Мордалевича. И потерял время. Не сообразил, что Мордалевич был последним, не послал сразу в погоню.

Долго ходил по камерам, заглядывал в койки. Находя пустые, не верил своим глазам и искал всюду. И только окончательно убедившись в отсутствии четверых, послал людей в погоню.

Нас выстроили и стали выяснять отсутствующих. Узнав фамилии, фельдфебель захотел узнать приметы. Долго шептался со своими клевретами.

В окрестностях лагеря беглецов не нашли. Пьяница ефрейтор, до войны бывший лесником, закинул за плечи винтовку и помчался на велосипеде в погоню. Долго колесил. В конце концов наткнулся на офицеров. Стрелял в них, задержал Грабовского, а Дьякончук удрал. И только через два дня был пойман полевыми жандармами где то далеко от крепости.

Двое остальных скрылись бесследно.

Грабовского сразу к нам не привели. Держали в какой то тюрьме.

Фельдфебель нас мучил. Говорил о том, что всех поймали. Рассказывал подробно о том, как ранили Грабовского и убили Дьякончука. А ефрейтор козырем, с торжествующей улыбкой расхаживал по лагерю. Мы поверили зловещим рассказам.

Потом привели Грабовского, бледного и измученного. Прямо посадили в карцер. Он успел нам крикнуть, что Дьякончук ушел живым, что двое других скрылись бесследно. Через несколько дней привезли Дьякончука. Он ходить не мог, вывихнул где то ногу.

Нам удалось настоять, чтобы обоих из карцера выпустили.

Тем дело и кончилось.

Да, пострадал еще огромный вяз, покрывший своею тенью место побега. Его безжалостно спилили.

Через несколько дней фельдфебель уехал в краткосрочный отпуск. И мы сразу вздохнули легче. Унтер-офицер не был таким злодеем. Он разрешил нам даже фотографироваться у одного немца. На одной из групп мы запечатлели собаку фельдфебеля, ефрейтора собаку, двух беглецов, этим ефрейтором пойманных. Получилась замечательная группа. И снявшиеся подобрались от монархиста до большевика и анархиста.

Скоро после этого на задний план отошли все лагерные мелочи, дрязги и треволнения.

Отдаленные раскаты надвигающейся революции потрясли нас, воскресили надежду на освобождение.

III

ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Тот, кто посвятил свою жизнь делу революции, знает, каким восторгом наполняется душа, как радостно бьется сердце, когда приходит чудесная весть:

— Революция совершилась! Народ восстал и победил!

Пусть это будет революция в чужой стране. Пусть ты непосредственно в ней не участвовал... Это—революция! А революция прекрасна.

Такие переживания в жизни редки, единственны. И рассказывая личную историю, на них не станешь останавливаться, по их поводу не будешь многословить. Подчеркнешь одним жестом, как первую радость разделенной любви.

И я не буду говорить много о наших чувствах. А постараюсь просто рассказать о германской революции в нашей тюрьме. О кануне нашего освобождения.

Лейтенант исполнил свое обещание: он ежедневно присылал нам Bug Zeitung. А солдаты из караула за приличную мзду носили нам и Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung, и Vorwärts, и маленькие наивные провинциальные газетки, в которые любящая рука заворачивала приносимые им „фельдпостом“ посылочки из дому.

По газетам мы следили за нараставшими и разворачивавшимися событиями.

Сначала наш интерес сосредоточивался преимущественно на военных событиях.

— Бьют немцев,—регистрировали мы.

И все чаще со злорадством дурного тона кричали допекавшим нас тюремщикам:

— Иди на французский фронт! Там узнаешь!

Но постепенно интерес к политическим событиям возрастал.

Сначала эзоповским языком сообщаемые слухи из военных сфер. Переговоры главной квартиры с правительством. Пессимистическая оценка положения одними, попытки найти выход со стороны других. Все более наглые требования Антанты. Тезисы Вильсона. Макс Баденский и Фриц Эберт. Попытка наложить демократические заплаты на распадавшуюся империю Гогенцоллернов.

По вечерам во второй из наших камер не продохнуть.

— Есть газета? Почему так долго нет газеты?

Наконец, газету приносят. Желающих послушать так много, что не умещаются на койках и в проходах между ними. Толпятся в дверях и в соседней камере.

Газету приходится переводить à livre ouvert, не гоняясь за буквальной передачей читаемого, без стилистической обработки.

А после чтения, под шум осеннего дождя, под свист и вой ветра в трубах, под чирканье сверчков, во множестве переселившихся в подпечное тепло, идут бесконечные споры. Пока часовой не начнет стучать в окно и ругаться, требуя, чтоб разошлись все по местам.

Ибо фельдфебельский режим долго не поддавался революции.

В начале ноября ударили морозы. По утрам иней покрывал поблекшую траву. Тусклая паутина проволоки одевала сверкающий белоснежный наряд. На черном фоне оголившихся деревьев ровные яркие черточки и линии скрывали колючую правду неволи.

— Нет газет! Сообщение с Германией прервалось!

Дни без газет. Ряд дней.

Фельдфебель ходит злой и мрачный. Придирается к караульным солдатам, следит за тем, чтобы они не вели разговоров с нами. Нам житья не дает.

Зовем лейтенанта. Отвечают: уехал.

Пристаем: почему нет газет?

— Расстройство транспорта. Военные переброски. Ремонт в типографии „Bug-Zeitung".

— Врут, негодяи! Наверное в Германии революция.

И хочется верить этой догадке и страшно поверить.

И, наконец, один из часовых кричит:

— Камрад, Вильгельм капут!

— Братцы! Товарищи! Вильгельму капут!—разносится по всему лагерю.

Кричим „ура!", но еще робко: а вдруг соврал немец.

Лезем к проволоке. У срубленного дерева то тот, то другой из понимавших по немецки тянут часового за язык. Он и сам еще мало знает. Но уже твердо уверился в том, что капут проклятому палачу Вильгельму.

— Как сменюсь, постараюсь достать газету. Ночью передам вам.

А ночью, протягивая дрожащей рукой газету, маленький провинциальный листок, измятый, зачитанный, просит:

— Товарищи! Строжайший секрет! Боже сохрани, чтобы не узнал фельдфебель, что вам передали газету. Нас всех сегодня собрали, всем об'явили о революции, но приказано все скрыть от вас. Если фельдфебель узнает, беда будет.

Мы даем честное слово, что не выдадим и будем разыгрывать из себя несведущих.

И всю ночь не спали: читаем, перечитываем.

Республика в Германии. Бегство Вильгельма и кронпринца. Восстания. Победа революции.

И утром ждем еще вестей, газет.

* * *

Фельдфебель мрачнее черной тучи. Промелькнул метеором и скрылся.

Не появлялся весь день.

На другой день пришел вместе с лейтенантом. Из двух кокард на фуражке уже только одна, означающая род оружия. Лицо дышет благодушием и чуть ли не радостью. Лейтенант серьезен и печален.

Зовут всех понимающих по-немецки в недостроенный барак. Там масса мусора и... нагажено. „Руссише банде" постаралась. Морщат носы, но характер все же выдерживают.

Лейтенант стал в угол и обратился к нам со следующей речью:

— Вам уже наверное известно, что в Германии произошли события. Но порядок сохранен и все остается по прежнему. Относительно вас и вашей дальнейшей сульбы нами послан запрос в Берлин, и согласно того распоряжения, которое будет получено, с вами поступят. Пока все остается по старому. Страже отдан об этом соответствующий приказ.

„Манифест" об'явил!

Мы вернулись в камеры и грянули такую марсельезу, какой немцы еще не слыхали.

На блиндаже на валу на высоком шесте вывесили красный флаг и весь день отбивали его от натисков немецкой реакции. Лишь под прикрытием ночного мрака коварному врагу удалось его сорвать. На второй не нашлось материала. Но красное знамя пылало в наших сердцах.

* * *

Немцы переваривали революцию по своему. Долго раскачивались. И только на третий или четвертый день услышали мы отдаленный революционный напев.

Но караул по отношению к нам продолжал держаться строго.

Киммельблат, ходивший под конвоем по какой то нужде в город, видел пьяных солдат. Один из них, обращаясь к конвоиру, сказал:

— И чего ты с ним возишься. Пырнул штыком—и кончено!

По шоссе мимо лагеря проходила мирная манифестация. Даже не манифестация. Просто учащиеся украинской учительской семинарии, празднуя революцию и ясный день, шли большой компанией по шоссе, по которому никому не

было запрещено ходить. Шли мужчины и женщины и пели песни. Смотрели, конечно, в нашу сторону и сочувственно махали платками. Мы собрались у того барьера, у которого прибита дощечка с надписью: „Стоит! четыре пленных“, и тоже размахивали мирно руками и пели песни, что так-же нам не возбранялось.

Часовой, без всякого предупреждения, открыл по мирным людям стрельбу. Выпустил все заряды из своей винтовки. Одного ранил. А хотел, несомненно, убить. Сбежавшийся караул с фельдфебелем во главе окружил и арестовал „манифестантов“.

* * *

Дни проходили. Мы послали телеграмму в Берлин социалистическому правительству с требованием немедленного освобождения. Вряд ли „Soldatenrat Brest“ ее отправил. В этом „Совете солдатских депутатов“ видную роль играл... наш фельдфебель. Он был выбран своей командой, ненавидевшей его от глубины души, но покорной и трепещущей. Ясно, что принявши революцию, эта гадина должна была пойти далеко и взлететь высоко. Он приезжал к нам на генеральском автомобиле с широкой ярко-красной перевязью на рукаве и разыгрывал из себя генерал-инспектора.

— Я сомневаюсь, чтобы вас можно было всех отпустить. На Украине вы будете опасны для немецких интересов!— важно заявил он.

Ляхович верно его определил по первому впечатлению:

„Ненастоящий человек!“

Великая германская революция, одна из величайших революций, гримасничала перед нами фельдфебельской маской из под колючей проволочной вуали.

И все-таки революция прекрасна! Украдкой она показывала нам и свое настоящее лицо, лицо грядущего, и поднимала сердца в чудесной надежде. Со страниц столичных газет глядела она, ее голос долетал издалека в словах о восстаниях масс.

И наша проклятая тюрьма с прозрачными стенами открылась.

Домой

Мы ждали и ждали. Но терпенья у нас был непочатый угол. Наиболее нетерпеливых, настаивавших чуть ли не на голодовке, уговаривали:

— Подожди, чудак! Ведь это же немцы. У них сразу ничто не делается. Они и революцию свою качали и раскачивали, пока не покатилась.

Была уверенность, что как бы ни мудрил фельдфебель, но долго мешать нашему освобождению он не будет. Была об'явлена амнистия, немецких солдат, сидевших как политические в Брестской тюрьме, уже выпустили. Нас не могли не выпустить.

И, наконец, нам было об'явлено:

Первая партия пойдет на родину через два дня.

Но и тут фельдфебель, приехавший на автомобиле об'явить нам об этом, стал измываться:

—Но мы отправим не всех. А только настоящих политических. У нас есть сведения о многих из вас, что они совершили всякие уголовные деяния. А затем, мы обязаны еще считаться с интересами немецких войск на Украине. Мы не можем выпустить тех, которые по нашим сведениям выступали против нас.

В конце концов выпустили всех. Но зачем было отравлять ненужной ложью минуты радости?!

В первом списке мы, выступавшие против интересов немецких войск, прочли свои фамилии. Никакой системы и порядка освобождения не было. В эту партию вошли люди из всех групп—и нашей, и крестьянской, и офицерской.

* *
*

В те дни на Украине шла борьба между Директорией и гетманом. Победа Директории еще далеко не определилась.

Для нас, во всяком случае, вследствие нашей неосведомленности, под большим сомнением было, увенчается ли успехом петлюровское восстание.

А вдруг мы попадем прямо в руки гетманцев?

У многих мелькала мысль, не лучше ли остаться пока что здесь? Несколько человек, имевших связи в Варшаве, получили разрешение ехать туда. Но это были исключения. У подавляющего большинства было одно лишь стремление—домой. А там—будь, что будет.

Наше отношение к петлюровскому восстанию было самым неопределенным. Во всяком случае о себе и о группе своих ближайших товарищей я могу сказать, что хотя наши симпатии и были целиком на стороне восставших против гетманщины и немцев, мы как-то не видели во всем этом своего родного и кровного дела. Нас отталкивали националистические лозунги, выкинутые главарями движения. А о том, что движение это переросло местами свою специфически украинскую оболочку, мы еще не знали. Вся наша информация ведь исходила из кругов украинского комиссариата.

Конечно, мы теоретизировали—не могли не теоретизировать—по поводу происходившего. Оценивая совершавшиеся на Украине события, как движение мелко-буржуазного крестьянства против немецкой иноземной оккупации, с одной стороны, и против гетманской реставрации прежних земельных отношений, с другой—мы предвидели, что в известный момент движения на арену должен был выступить пролетариат и поставить свои задачи и цели. Но как и в чем проявится конкретно это, судить мы, конечно, в тот момент не могли.

Этим и об'ясняется то, что у нас было такое ощущение, точно мы из под немецкого душа едем прямо в русскую баню. Чувствовалась неопределенная беспредметная досада, что вот попадем теперь в какой-то туман и пар и опять нам будут дергать нервы и мучить нас, когда после всего пережитого нужно успокоиться, отдохнуть и осмотреться. У всех, особенно у тех, кому для того, чтобы добраться до родных

Факсимилє увольнительного билета.

Grosser Soldatenrat Brest
Abteilung: Zivil

den.....

Ausweis

Der. Lwg. Thabjarowski.....ist aus dem Ukrainer-lager Brest- Litowsk ordnungsgemäss entlassen.

Sämtliche deutsche Soldatenräte werden gebeten, ihn ungehindert in seine Heimat passieren zu lassen.

Grosser Soldatenrat Brest. 22.11.18.

GROSSER SOLDATENRAT BREST

Большой Совет солдатских
депутатов Бреста
Гражданское Отделение

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

..... действительно освобожден в законном порядке из Украинского лагеря в Брест-Литовске.

Просьба ко всем немецким Советам солдатских депутатов—беспрепятственно пропускать его на родину.

Большой Совет солдатских депутатов Бреста

(подпись) 22/XI—1918 г.

(Перевод с немецкого)

нужно было пересечь чуть ли не всю Украину, было ...ние: а доберемся ли здравы и невредимы.

* * *

И все-таки мы весело и бодро собирались в путь-дорогу. ...мысли о том, что кончилось это многомесячное пребы...ие во власти фельдфебелей, за колючими проволоками, ...ли от близких людей и родного дела, хотелось танцовать ...еть марсельезу. И если мы не все танцовали, то все за ...пели боевые песни революции.

Возвращались мы отрепанные и износившиеся, исхудавшие и, в огромном большинстве, больные. На носу уже были ...розы и по утрам лужи затягивались ледком. Накануне ...езда выпал снег.

Наконец, мы в последний раз стоим дрожащим от ...олода и сырости строем перед нашей тюрьмой. Нас пере...читывают. Окружают конвоем.

Да! Мы все еще не свободны. Они все еще боятся... ...его боятся? Что мы разбежимся в разные стороны для того, ...тобы пробираться сибирскими бродягами домой? Вряд ли. ...то даже для немецких фельдфебелей было бы черезчур ...лупо. Я думаю, что они скорее всего боятся того, что идя ...ольными людьми здесь, под проволоками, окружавшими ...ашу тюрьму, в районе нашей ссылки, мы самым фактом ...воей свободы растопчем ногами и посрамим тот подлый ...ежим, который держался на их рабстве, но который они ...аже и теперь не хотели бы принизить и подвергнуть публичному ошельмованию. Это был немецкий режим, насыщенный завоевательской гордостью, угнетением слабых и беззащитных и верой в то, что Германия превыше всего на свете.

Они чуть ли не говорят нам:

— Это наша революция, мы ее сделали, а вы — „руссише бандe“ — с нами не равняйтесь, и здесь, где по праву сильного мы вас угнетали, носа не задирайте. Окруженные нашими штыками идите себе прочь и поминайте лихом: нам на это наплевать.

И мы поминали и будем поминать всегда лихом, ненавистью, гневом и презрением будем поминать эти

месяцы неволи у немцев, грабителями и тиранами пришедших в нашу страну. То, что пережили мы в их цепких лапах, описано мною далеко не полно и совсем не теми красками, какими мы непосредственно воспринимали все это тогда, когда из-за тюремных решеток и сквозь колючие ограды смотрели на мир. Но если краски вылиняли и рисунок стерся, то контуры пережитого остались. И эти контуры только и хотел я закрепить в этом своем рассказе

Это ведь была маленькая глава в огромной истории тюрем и ссылок, через которые проходил русский революционер. Бяла и Брест не Шлиссельбург и Петропавловка, конечно, и в лице моем и моих товарищей немецко-гетманская реакция гноила не титанов революционной борьбы, а рядовых ее участников. Но тот маленький шаг на бесконечном крестном пути революционера, который мы сделали у немцев, некоторый след все же оставил в жизни. И было бы жалко, если бы он стерся совсем в людской памяти.

Мы возвращаемся домой!

И после того, как мы посердились на немцев на прощанье за то, что они по выходе из проволок в последний раз обыскали нас, чтобы отобрать свои немецкие одеяла, которыми мы хотели защищать в пути от холода свое тело, мы опять поем марсельезу.

На вокзале нас усадили в вагоны и только тут раздали „аусвайсы"—удостоверения о законном освобождении. И заперли в вагонах.

Отперли только на пограничной станции, ночью, и сказали: „марш"!

Как слепые щенки мы тыкаемся носом в незнакомых местах. Дрожим от холода в товарных вагонах. На рассвете, наконец, трогаемся.

Я никогда не забуду этого кошмарного путешествия с бесконечными стоянками в пути, ожидания поездов на грязных каменных полах в станционных зданиях.

Мы проезжаем зоны, охваченные восстанием.

Каким то чудом никем не арестованные добираемся до родного города.

Там еще гетманская власть. Чтобы не захватили нас всех вместе, разбегаемся в разные стороны.

Мы с Вучетичем спрятались за какими то тюками товаров и несколько часов дрожали, дожидаясь рассвета. Ночью с вокзала выйти нельзя, не выпускают.

Засерело утро. Все покрыто инеем. Побеждая сон с кошмарными бредовыми образами, один—в жару, другой—в ознобе, мы выходим никем не замеченные. Шатаясь, поддерживая друг друга, идем по шоссе к городу. Сознание почти отсутствует.

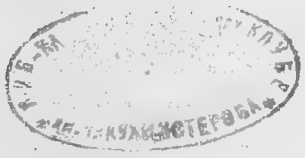
Вот и здание, где был наш клуб. Мы знаем уже, что клуб закрыт, а помещение реквизировано. Но мою жену, жившую в клубе, может быть, еще не выселили. Случимся. Когда нам открывают дверь, уже ничего почти не сознавая, мы входим и падаем.

Детский писк пробивает бредовые картины и возвращает меня на короткий миг к сознанию.

Последними силами истощенных организмов мы побеждаем болезнь.

Окна звенят и стены трясутся от орудийных залпов.

Как раненый зверь, огрызаясь и ломая все на своем пути, уходят немцы из Украины.



Карт. № 156. «Р. У. П. № 881». Зак. № 417. Тираж 5000 экз.

5 р.

382
6

сф 1954
930